

Софья Мотовилова – «семейная связь»



Единственное дошедшее до Москвы фото «взрослой»
С.Н. Мотовиловой («на документ», 1958 г.)

В одном из писем И.Р. Классону С.Н. Мотовилова (их переписка началась, как мы уже упоминали, в 1959-м) так ответила на его вопрос о своей профессии:

По-моему, добровольный ходатай по чужим делам, борец против вредительства, ну и графоманка. Но это уже, кажется, не профессия, а свойство. Нет, на самом деле последние годы, так от 1932 года до 1949-го, я работала как библиограф в научно-исследовательских и учебных институтах. Для подработки делала переводы. Затем перешла на пенсию, только в 1950-м. Но пенсия была 210 руб., приходилось подрабатывать. Знаете: нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет. Переводила из всяких областей техники и медицины, в которых мало понимаю. И даже с итальянского, который плохо знаю, математические статьи!

Правда, я окончила в 1907 г. физико-математический факультет [(на Высших женских курсах в Петербурге)], была оставлена при кафедре геологии у большого и интересного ученого Левинсона-Лессинга (потом он был академиком). Но из моей геологии ничего не вышло, в [киевском] Геолкоме я работала как библиограф. Во время чистки (я их очень раскритиковала) выступил директор [Мельников] (protégé [чекистского начальника] Бокия) и сказал: «Тут Мотовилова выступала как стопроцентная большевичка, а посмотрите, что она в жизни представляет?». У меня душа в пятки ушла: что же я в жизни представляю? Он <...> нагнулся, пошарил по полу и сказал: «Она там внизу, совсем внизу занимается библиографией». (Эти письма хранятся в ф. 9508 РГАЭ)*

Объясним, как говорится, генезис «чисток»:

В 1928 году <...> была властями придумана так называемая чистка учреждений. Главным критерием считалась не квалификация служащих, не его усердие, не его честность, а его социальное происхождение. На первых порах анкеты не были особенно подробны, стояли такие вопросы: кто были ваши родители? служили ли вы в царской армии? служили ли в белой армии? привлекались ли к уголовной ответственности и по какой статье? имели ли собственность?

* Эта обширная тема «чистки» будет постоянно возникать в воспоминаниях и письмах Софьи Николаевны. Инициировало сию мерзкую кампанию как будто бы Постановление ЦИК и СНК СССР о чистке аппарата гос. органов, кооперативных и общественных организаций. См., напр., «Правду» от 2 июня 1929 года. Однако и в середине 1920-х «чистки» применялись повсеместно.

На вопрос о родителях на первых порах можно было кратко отвечать: «сын служащего», «дочь врача». Только в 30-х годах бдительные отделы кадров догадались вставить вопрос о бывшем сословии родителей. Да, так что же такое чистки 1928 и 1929 годов? <...> Вычищенный по первой категории вообще лишался права куда-либо поступать на службу. Вычищенный по второй категории изгонялся из столичных учреждений, но мог уехать работать на периферию. Вычищенный по третьей категории оставался в своем учреждении, но на низшей должности. Чистка проводилась публично, на общих собраниях. Судьбу поставленного к позорному столбу решали свои же сослуживцы под особым давлением председателя комиссии по чистке и членов комиссии, кристально чистых партийцев. (Сергей Голицын. Записки уцелевшего)

В другом письме московскому корреспонденту Софья Николаевна приводила дополнительные подробности своего выживания:

Сегодня весь день страдала над итальянским переводом [для племянника]. Язык знаю плохо. Вы любите переводы? Я терпеть их не могу! А делать их пришлось очень много: и письменно, и á livre ouvert [(без подготовки, на ходу)] всяким научным работникам из всех областей знания и со всех языков. Ну что же, нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет! Ведь после того, как я вынуждена была из-за спазма сосудов [мозга] бросить работу, мне приходилось жить несколько лет на пенсию в 210 руб., ну и этого мне не хватало. А вещи наши все сгорели. Немцы, уходя, сожгли наш дом, т.е. дом, где мы жили двадцать восемь лет! Продавать было нечего. Какие-то бабушкины кружева и страусовы перья уже давно продала. Теперь, слава богу, пенсию увеличили, и я могу не только жить, но даже [сестре] Вере книги посылать, в этом году они обошлись мне в 70 руб. новых денег.

Еще в одном письме выяснилось – пенсию увеличили аж до 46 руб. «новых денег», которые появились в связи с реформой 1961-го, зачеркнувшей один ноль. Для сравнения, ее адресат И.Р. Классон получал тогда пенсию в 120 руб. (правда, на его содержании находились жена-домохозяйка и два сына-школьника).

Зачином тогдашних страданий С.Н. Мотовиловой послужил визит ее сестры З.Н. Некрасовой, она принесла итальянский журнал *Realta Sovietica* (типа нашего «Огонька») и попросила перевести для своего сына Виктора статью «Новый роман Некрасова и итальянская критика»: «Статья небольшая, приводится мнение трех буржуазных критиков. Но, увы, я не все поняла. Авось, добьюсь, перечитывая. Какой-то критик говорит, что Вика не политический писатель, а интеллигентный». Речь шла о повести «Кира Георгиевна», опубликованной в №6 «Нового мира» за 1961 год.

Такие просьбы со стороны Некрасовых поступали и раньше:

Зина просила меня сделать для Вики перевод из итальянской газеты. А мне это ужасно трудно. И итальянский я забыла, и словаря хорошего нет, и совершенно мне не понятно, и боюсь переутомиться. Делается у меня тогда какой-то спазм сосудов, падаю, головная рвота. Боже, я так счастлива, что у меня пенсия, на которую могу жить, и не надо мне больше ни работать, ни подрабатывать. (Из письма в Лозанну, подобные письма хранятся в ф. 786 отдела рукописей РГБ)

Сестра Вера Николаевна тут же прислала одряхлевшей и подслеповатой сестре французско-итальянский словарь, и последняя была весьма благодарна: «очень удобен, шрифт хороший». Еще в одном письме Софья Николаевна жаловалась лозаннской сестре по другому поводу:

А я страшно страдаю от своего одиночества! Главное, всю жизнь была одинока, но тогда ведь впереди было будущее, а теперь... Кроме того, последние годы, от 1918-го до 1950-го, я привыкла жить в семье, быть перегруженной всякими делами, ну и службой. У меня бывало по три-четыре службы зараз! Последние годы – только одна.

После войны у нас был введен восьмичасовой день и обязательный часовой перерыв. Так что с ходьбой туда и обратно это отнимало десять часов. Ну, а потом масса времени уходила на получение пайков, готовление на всех.

Ведь [домработница] Ганя к нам приехала только в 1948-м году, а дом-то у нас все время был полон Викуными приживалами, не говоря уже о их гостях. Приживалы жили годами у нас, а гостей – без конца. И на всех-то я готовила, я же стояла за пайками! И еще дрова приносила. Ну, а теперь совсем одна. В этой квартире я живу пятнадцатый год. Кроме меня тут живет еще двадцать человек, было двадцать три, но трем семьям дали уже отдельные квартиры (но на их место приехали другие) и теперь только двадцать [жильцов]. Но с этими соседями я ничего не имею общего, даже их по имени не знаю. Иногда кто-нибудь из них зайдет ко мне сделать ему немецкий или английский перевод или взвесить что-нибудь на моих весах. Весы есть только у меня.

Поясним здесь, что с 1915-го до 1943 года С.Н. Мотовилова с родственниками обитала в квартире №17 на пятом этаже дома №24 по Кузнечной ул., но при немцах сей дом, как раз в 1943-м, сгорел (почему – это отдельная история), поэтому пришлось перебраться в квартиру №7 на четвертом этаже дома №38 по той же улице, при большевиках получившей сначала имя Пролетарской, а затем А.М. Пешкова-Горького. Ее племянник В.П. Некрасов, как лауреат Сталинской премии, получил отдельную квартиру в 1950 году, и тетка осталась одна в комнате коммунальной квартиры.

В одном из своих многочисленных посланий сестре Вере в Лозанну наша героиня нарочком обозначила свою современную, весьма важную для нас роль:

Твое коротенькое письмо и приписку [Н.А.] Ульянова пошлю Зине, а тебе посылаю ее первое письмо из Ялты. Сегодня же получила письмо от Машеньки [Володиной], тети Анютиной дочери <...>, она с дочкой живет в Тамбове. Дочка кончает Музыкальное училище. Для развлечения Машеньки пересылаю ей все письма наших родственников. Любы [Пятницкой] из Франции, тети Вериней дочери [Нины Мотовиловой] из Ленинграда, жены Пети Пятницкого [Сони] из Симбирска [теперь Ульяновска – МК], а теперь она просит еще письма Вани Классона [из Москвы]. Я, так сказать, «семейная связь», да, еще письма от тети Анютиной внучки [Лены Игнатович], она живет под Москвой – шахтерка!

Однако «нового корреспондента» Ваню Классона пришлось предупредить:

Имейте в виду, что Ваши письма я пересылаю Маше [Володиной], и поэтому ничего, что бы ее могло обидеть, не пишите. Я также пересылаю Зинины письма Вере, чтоб ее развлечь, и, кроме того, эти письма, о том, как прекрасно жить в Союзе советов, самый подходящий материал для посылки за границу. Одно письмо я могу Вере послать, в другом все хорошо, и вдруг фраза: «Я все забываю, как наша Вера». Ну, это была бы дикая обида.

Я как-то Вере написала, оплакивая все сгоревшие у нас вещи после ухода немцев, что последняя обивка (красивый желтый шелк, стиль модерн) не подходила к бабушкиному гарнитуру гостиной мебели, кажется, стиль Людовика XV. Приходит Ульянов домой, Вера рыдает: Ульянов шлет Зине негодующее письмо, что я нарочно стараюсь сказать Вере что-то обидное, ведь обивку выбирала она. С моими сестрами очень трудно, как бы их не обидеть.

Далее мы не будем, за небольшими исключениями, дифференцировать письма сестре Вере в Лозанну и переписку с И.Р. Классоном. Они, конечно же, несколько различались: с заграницей нельзя было откровенничать по поводу «отдельных недостатков советской системы» (при этом с сестрой Софья Николаевна была на «ты»), а в письмах И.Р. Классону, как «своему, советскому человеку» допускалась подобная критика (но с ним она была на «Вы»).

А вот мимолетное сравнение, сделанное нашей героиней, – «до и после»:

Вообще до революции мы были перелетными птицами, больше трех лет ни в одной квартире, ни в одном пансионе не жили. Один год у меня было три весны: сперва в Италии, затем в Швейцарии и, наконец, в Финляндии, где я собирала массу ландышей. Ну, а революция нас прикрепила к нашим комнатам, как улиток к их раковинам.

Этот сюжет можно отнести к подавляющей массе интеллигенции, которая оказалась при большевиках в бедности и за железным занавесом. В то же время некоторые представители этой «прослойки», раболепно служа «новому режиму», жили припеваючи и пользовались известной свободой выезда за границу.

Еще одно упоминание о последствиях революции содержится в письме к известному библиографу Николаю Александровичу Рубакину, жившему в Лозанне, за март 1927-го:

Конечно, если бы Вы приехали сюда, никто бы не стал требовать от Вас, чтоб Вы были «одним из стада» и «одобрять кровь», как вы пишете, Вам бы не пришлось, так как никакой крови у нас нет, во всяком случае, не больше, чем в любой буржуазной стране. Много ужасов было во время революции и гражданской войны. Но ведь это уже прошло. Но всякая революция бывает ужасна, как ужасна и война. То, что плохо у нас теперь, это, скорее, отголоски старого быта – та же матрена да в другом сарафане, и иной раз и сарафан тот же. Вспомните Россию Гоголя, Салтыкова, разве можно так скоро из нее уйти?

Сталинская кровавая эпоха еще не наступила...

Софья Николаевна признавалась:

Я терпеть не могу скупости, но я не терплю и бессмысленного швыряния деньгами. Я слишком хорошо знаю, что такое нужда, чтоб ненавидеть «le gaspillage des sociétés humaines» [(«напрасную трату ресурсов человеческого общества»)].

В другом письме о том же:

Видите, деньги меня мало интересуют. Если я о них пишу, то только потому, что для меня мало интереса представляют деньги сами по себе, а мне интересна психология людей в отношении к деньгам.

И в третьем, наиболее откровенно:

Одна моя знакомая <...> мне писала, что ей противно читать мои письма: я все считаю «чужие деньги». Вопрос не в деньгах, а в психологии «наших хороших советских людей», которых надо восхвалять! Писать о них героические романы! Но отчего нельзя писать правду?

Мы тоже будем придерживаться такого подхода, который был наиболее ярко проиллюстрирован С.Н. Мотовиловой в отношении разбогатевшего в 1950-60-е годы на писательских гонорарах В.П. Некрасова. В отношении же «наших хороших советских людей» стоит отметить, что это выражение из большевистского новояза наша героиня регулярно иронически использовала:

По радио все прекрасно, сейчас передают – всюду «чистота и порядок», «наши хорошие советские люди», герои, рассказ о нескольких героических поступках. Упреки писателям, что они недостаточно освещают «нашего хорошего советского человека».

Племянник Виктор описывал такую замечательную черту С.Н. Мотовиловой:

Думаю, что идею вести дневник внушил мне пример тетки (ее дневники охватывают период с 1897 года до последнего дня ее жизни, до 1966 года, и занимают сейчас у меня в шкафу [в Киеве] целую полку) и полная уверенность в том, что всякий уважающий себя писатель обязательно должен вести дневник.

<...> Тетка моя – я это знаю – вела его преимущественно для себя. Человек экспрессивный и импульсивный, очень близко к сердцу принимавшая все события – от квартирных недоразумений до государственных переворотов, – она должна была перед кем-то излиться, и так как этот «кто-то» не всегда был, она изливалась самой себе. И очень любила перечитывать потом эти излияния – через пять, десять, двадцать лет. Кроме того, в дневнике было много вырезок из газет, фотографий и обязательный список расходов (в отдельной книжечке), – думаю, что более точных сведений о ценах в нашей стране за более чем полвека не найдешь ни в одном справочнике. (Из очерка «Дедушка и внучек», 1968 г.)

Стоит здесь отметить, что упомянутый очерк был написан после кончины тетки, и ее дневники попали к племяннику, но не надолго. Автор предположил, было, что при обыске в 1974-м их, наряду с другими бумагами В.П. Некрасова, забрали чекисты. Или же, если эти дневники последним не показались интересными для уголовного дела по «писателю-отщепенцу», то они были, скорее всего, выброшены на помойку, после того как Виктор Платонович, отправляясь в эмиграцию, оставил свою квартиру друзьям-алкоголикам.

Последний вывод автор был вынужден сделать, прочитав в повести «Взгляд и нечто»:

Я в наследство оставил ему [(Севке Ведину – бывшему зав киевским отделом агентства печати «Новости»)] свою квартиру. С мебелью, обстановкой. <...> Ни на одно письмо, ни на одну открытку он мне не ответил, к телефону не подходил.

<...> Хамка его запустила квартиру, все завалено было грязным бельем, невытой посудой, работал он уже каким-то рядовым инспектором в Управлении по охране авторских прав, и вот, попав в очередной раз в больницу, вышел из нее, за ним не углядели, выпил стаканчик-другой (с кем, кто эта сволочь?) и умер. <...> Кто был на похоронах, не знаю. Известно только, что хамка его на поминках перепилась, веселилась, а друзья, или бывшие друзья, потихоньку растаскивали все, что под руку подвернулось, на память о... А Бог его знает о чем, о ком.

Объективности ради приведем и фрагмент письма В. Бушняка, члена Союза журналистов СССР, писателю Виктору Конецкому после публикации книги последнего «Париж без праздника»:

Свою квартиру, уезжая за границу, он передал семье журналиста, покойного ныне Всеволода Бенедиктовича Ведина. Несмотря на все трудности, рискуя подвергнуться опале (было и это), Всеволод Ведин немало сделал для сохранения архива В.П. Некрасова.

А как свидетельствовал тогдашний сотрудник «Огонька» Владимир Александрович Потресов, на вечере памяти В.П. Некрасова в РГАЛИ в ноябре 2011-го, новые жильцы квартиры в Пассаже нашли на балконе в картофельном ящике его письма маме с войны. И их дочка сохранила эти письма, а теперь они находятся в Литературном музее! На наш взгляд, это убедительно говорит о небрежном отношении писателя к документам (в частности, к письмам – своим или «чужим»). Подобные поразительные свидетельства мы еще не раз приведем...

В то же время, как недавно выяснилось, дневники С.Н. Мотовиловой ни к чекистам, ни на помойку не попали, а, переходя от одного «хозяина» к другому, осели в Москве... Об этом мы обязательно расскажем в свое время. Но вернемся к нашей героине. Итак, Софья родилась в 1881-м в Симбирске в семье Николая Ивановича и Алины Антоновны (в девичестве фон Эрн) Мотовиловых. У нее еще были две сестры: старшая Зинаида (1879) и младшая Вера (1885).



Софья и Зинаида Мотовиловы (с сайта памяти Виктора Некрасова)



*Софья, Зинаида и Вера Мотовиловы. Фотография Oswald Welter, Лозанна, 1892 г.
(с сайта памяти Виктора Некрасова)*

Сестра Нина умерла в три года и появилась в воспоминаниях С.Н. Мотовиловой лишь один раз:

Жили в Симбирске мы на Лисиной ул., против дома больницы. Называлась «Красный Крест», и вокруг был сад. Помню, как любила тебя Ниночка, очаровательная была девочка. У меня сохранилось ее кисейное платьице на розовой подкладке и ее куколка. Но куколка уже раздетая. Когда я заболела дифтеритом, мама и папа сняли соседний дом и перевели туда всех детей, а сами ухаживали за мной.

Когда я стала выздоравливать, меня подводили к окну смотреть, как Вы гуляете. Но на [рождественскую] елку Зина и Нина пришли в наш дом. Считали, что я уже выздоровела, а Ниночка заразилась и умерла. У меня есть и ее и папин портреты в гробу. Очаровательная была девочка, но мы с Зиной важничали и не всегда ее принимали в наши «игры в себя». (Из письма сестре Вере)

Зинаида Николаевна, обучаясь в Лозаннском университете на медицинском факультете, в 1899-м у сестры Софьи в Лейпциге познакомилась с Платоном Федосеевичем Некрасовым (будущим банковским служащим) и, обвенчавшись с ним в 1901-м в Женеве, родила затем двух прелестных мальчиков – Николая и Виктора. Но, похоже, их семейная жизнь по каким-то причинам не заладилась, скудную информацию об этом мы попробуем дать в очерке «Виктор Некрасов в разных измерениях».

А Вера Николаевна в 1911-м вышла замуж за Николая Алексеевича Ульянова, социалиста-революционера («левого эсера») и затем геолога, и далее жила с ним в Лозанне. Сестра Софья видела ее последний раз в 1913 году, а далее общение шло только по почте...

Родословную Мотовиловых мы уже более или менее подробно осветили.



Лейпцигские знакомые С.Н. Мотовиловой



*Антон Вильгельм фон Эрн в парадном мундире,
с Орденом Св. Анны 2-й степени с Императорскою Коронаю*

Про отца А.А. Мотовиловой известно, что Антон Вильгельм сын Николаев фон Эрн происходил из старинного шведского рода и родился в Лифляндии в 1797-м. Военную карьеру начал, поступив в 1812 году из университета в Або (Турку) в Финляндский топографический корпус в чине кадета. Список сданных в университете дисциплин свидетельствует все-таки о среднем, а не университетском образовании А.Н. фон Эрна.

Далее он безупречно служил и дослужился в Лейб-уланском Курляндском Его Величества полку до полковника в 1851 году, после чего вышел в отставку в 1858-м по семейным обстоятельствам, но в чине генерал-майора, *«с мундиром и пенсионом полного жалования»*.

В 1856 году, будучи лютеранином по вероисповеданию, он венчался с Валерией Францевной Флориани в Ржищевском римско-католическом костеле (Польша). Выходит, «молодому» было пятьдесят девять лет, а «молодой» – тридцать один год. Антон фон Эрн имел в с. Зуевцы и хуторе Солоновщино Миргородского уезда Полтавской губернии 120 душ крестьян и 700 десятин земли. Через год, в 1857-м у них появилась дочь Алина, а несколько позже и сын Николай (до 1862 г., поскольку в 1861-м отец умер), биографию которого мы не будем здесь раскапывать.

Алина Антоновна, повзрослев, вышла замуж за своего двоюродного брата, тем самым они «закольцевали» родословную Мотовиловых. В итоге у С.Н. Мотовиловой были бабушки – сестры: Луиза Францевна (по отцу) и Валерия Францевна (по матери). Последнюю наша героиня называла то бабушкой, то *grande tante*.



Валерия Францевна Флориани-Эрн

Приведем такое свидетельство С.Н. Мотовиловой о своей бабушке:

<...> В старости любишь лесть и уважение. Помнишь, бабушка Валерия Францевна пошла к [нашим богатым знакомым] Капканщиковым, приготовила рубль, чтоб дать их лакею на чай. Помнишь их Давида? Бакенбарды, выбритый подбородок, настоящий приличный лакей. А рубашки он носил самого Капканщикова. Тот носил рубашку первый день, а второй день – носил Давид.

И вот он почтительно повторял бабушке: «Ваше превосходительство. Ваше превосходительство». Бабушка (все-таки из бывших гувернанток) была польщена и вместо рубля дала ему на чай три руб. (Из письма сестре В.Н. Ульяновой)

А вот живописные подробности о дочери Валерии Францевны из очерка В.П. Некрасова «Алина Антоновна»:

В бабушке не было ни капли русской крови (отец по происхождению швед – Антон фон Эрн – вернее Ёрн – генерал русской армии, мать – итальянка, родом из Венеции, Валерия Францевна Флориани), но как-то так получилось, что бабушка моя умудрилась сочетать в себе самые положительные черты русского человека. Приветливость, доброта, исключительное гостеприимство, умение легко переносить трудности (а их в ее жизни было предостаточно) и необыкновенная легкость в обращении с людьми любого положения и происхождения. К тому же она была на редкость обаятельна.

Друзья мои всех возрастов – от мальчишек со школьной скамьи до институтских курящих и пьющих студентов – души в ней не чаяли. Все ее любили – мы, соседи по дому, швейцар Герасим, швейцариха Катя, почтальон Никифор Петрович, бубличник, приносивший по утрам свежие бублики, – все до единой молочницы, продавцы и продавщицы в «сорабкоопах» (были такие в моем детстве «гастрономы») и, конечно же, все нищие, сидевшие на Марино-Благовещенской (теперь Саксаганского), и даже извозчики, стоявшие на углу Б. Васильковской, хотя услугами их бабушка из-за отсутствия средств не очень-то часто пользовалась. Такой милый и открытый был у нее характер.

Была она ко всему еще и красива. Красота, которую не искажает старость, по-видимому, и есть подлинная красота. И дело даже не в правильности и благородстве черт, а в том, чего на фотографии из альбома не увидишь, в выражении глаз и в улыбке, которые на всю жизнь остались молодыми. Думаю, что именно ее взгляд и улыбка покорили некоего господина с бакенбардами, который на балу в Смольном пригласил Алину Эрн на первую мазурку. Этим господином с бакенбардами был самодержец все-российский император Александр II. Вот так бабушка начала свой жизненный путь – папа с Анной на шее, институт благородных девиц, трогательные розы в белой рамочке, мазурка с царем... А потом... Потом жизнь в имени своих родителей в Симбирской губернии, в [Мокрой] Бугурне...

В парижском архиве В.П. Некрасова хранилось трогательное письмо его дедушки к его бабушке:

Дорогая кузина моя, Алина Антоновна!

Согласны ли Вы сделаться моей женой?

Ни роскоши, ни высокого положения общественного не могу Вам дать в случае Вашего согласия. Взамен этого: непритворное, искреннее чувство глубокого к Вам расположения, известное материальное обеспечение, которое даст нам возможность жить, не рискуя помереть с голоду. Если Вы согласны, то не найдете ли удобным передать о моем предложении тетушке.*

Во всяком случае, пишите мне в Харьков, так как я на днях буду там: хочу поступить в тамошний Ветеринарный институт. Коли Вы письменно изъявите согласие, то я приеду к Вам. Жду ответа с нетерпением. Целую вас крепко (хотя бы по праву кузена).

Искренне любящий Вас

Николай Мотовилов

1877 г. Июля 4. Самара

В эмигрантском очерке «По обе стороны Стены» В.П. Некрасов кратко комментировал это письмо:

Вот так сто лет тому назад делали предложения. И ждали письменного согласия в ответ на непритворное чувство глубокого расположения. Насколько мне известно, бабушка с дедушкой жили дружно, с голоду не помирали в каких-то симбирских поместьях, и только после дедушкиной смерти (умер он молодым, тридцати с чем-то лет, от туберкулеза) бабушка с тремя дочерьми уехала в Швейцарию. Не эмигрировала, а уехала, дав дворнику три рубля, чтоб он принес заграничные паспорта.

* Николай Иванович, как мы уже отмечали, был племянником Валерии Францевны.



Николай Иванович Мотовилов в молодости

Мы, со своей стороны, тоже приведем выдержки из письма Н.И. Мотовилова своей будущей невесте:

<...> Затем скажу Вам, что Вы славная, хорошая натура, честная в высшей степени и что я Вас за все люблю; мне кажется, мы с Вами не только уживемся, но, пожалуй, и будем счастливы. Но жить придется нам довольно скромно, чтобы не сказать больше. Это потому что мне не хочется вполне пользоваться добротой безграничной моих родителей, хоть они для моего счастья готовы на все; хорошие люди, они меня любят. <...> Целую Вас, милая, дорогая моя кузиночка; в случае Вашего согласия, как жених; в противном случае как кузен. Любящий Вас как самого себя. (Из письма от 7 июля 1877 г. из Ряжска по дороге в Харьков, ф. 786 отдела рукописей РГБ).

Любящий кузен, по-видимому, в Ветеринарный институт так и не поступил, зато добился согласия кузины! Они венчались в августе 1877 г. в православной Константино-Еленовской церкви села Малая Даниловка Харьковского уезда. Возникает вопрос: а почему это торжественное событие случилось в селе, к которому молодые, похоже, до этого никакого отношения не имели?

Ответ на него мы находим в письме С.Н. Мотовиловой:

Витте в своих воспоминаниях рассказывал о Меринге, мамином крестном отце. Он был дружен с маминим отцом [Антоном фон Эрн], в Киев Меринг приехал бедным, и мамин отец дал ему несколько золотых, которые и послужили основанием большого богатства Меринга в дальнейшем. Он присылал маме на всякие праздники золотые, но бабушка их маме не давала, а прятала в отдельную коробку [(шкатулку)]. Когда папа приехал к бабушке [Валерии Францевне] в Солоновщино (он же был ее племянником, и мама долго у них в Симбирске жила), он хотел жениться на маме, но бабушка своего согласия не давала.



Алина Антоновна фон Эрн-Мотовилова в молодости

Сама она, бедная гувернантка, в тридцать с чем-то лет вышла замуж за генерала [на самом деле, за полковника, которому при выходе в отставку будет пожалован чин генерал-майора, – МК], богатого помещика, считала, что мама может выйти лучше замуж. Бабушка решительно папе отказала. После этого бабушка уехала на какую-то ярмарку, а мама и папа решили бежать. Денег у них не было ни гроша, и они забрали все золотые [монеты] Меринга и уехали в Харьков. Золотые-то ведь мамины были. В Харькове не было согласия родителей на их венчание и кроме того, как кузен и кузина, они жениться не могли. Но какой-то папин приятель нашел загородного попа, который согласился их повенчать. <...> Вообще вся эта история с бегством, без согласия бабушки, мне представлялась какой-то романтикой.

В продолжение описания сего замечательного персонажа опять процитируем очерк В.П. Некрасова «Алина Антоновна»:

С появлением детей – четыре дочери, младшая, Ниночка, умерла еще ребенком, – жизнь несколько изменилась. Меньше липовых аллей, больше симбирских улочек, а потом, после смерти дедушки, симбирские улочки сменились на лозаннские в Швейцарии. Почему бабушка одна с тремя детьми поехала вдруг в Швейцарию? Два имени – в [Мокрой] Бугурне и в Цыльне – двух маминых бабушек, Валерии Францевны и Луизы Францевны (моя бабушка вышла замуж за двоюродного брата) – и вдруг ни с того ни с сего Швейцария? Как мать [(Зинаида Николаевна)] сейчас объясняет, просто для того, чтоб сменить обстановку после смерти ее отца. «Ну и для того, чтоб научиться французскому языку...», – добавляет она, мило улыбаясь. Учились они французскому языку что-то очень долго. Потом медицине – мать, геологии – тетка. А бабушка, как это называлось, «вела дом» и вместе с женой Плеханова успевала еще устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов.

В общем, как сформулировал Виктор Платонович, это была «жизнь русской интеллигенции левого направления тех давних лет». Правда, здесь он немного путает с именами: у Валерии Францевны оно располагалось в Полтавской губернии и называлось (как мы уже видели) Солоновщино. Другое дело, что в 1896 году симбирские Мотовиловы продали «полтавской» Алине Антоновне, вдове дворянина, 292 десятины в имении Мокрая Бугурна.

Далее В.П. Некрасов так описывал жизненный эпилог Алины Антоновны:

Бабушка прожила 86 лет. Первую половину в девятнадцатом веке, вторую в двадцатом. <...> В последние годы перед войной бабушка ослабела. У нее был небольшой, как тогда говорили, удар, и ей стало трудно ходить, приволакивая ногу.

Отпали магазины, базары, готовка обедов. Сидела в кресле и что-то штопала, штопала – она не могла без работы, в сотый раз перечитывала французские романы в желтых обложках – у нас их был миллион или писала красивым бисерным почерком письма тете Вере и своей подруге по Лозанне. Кстати, письма ее были всегда интересны – сужу по тем, которые получал, когда жил вне дома, – полны мелких, забавных деталей и написаны настолько живо, что на них сразу же хотелось отвечать.

<...> Умерла бабушка 27 марта 1943 года, так и не дожив до освобождения. В Сонином дневнике есть запись: «Мама все повторяет: «Вот дождусь Викочку и тогда спокойно умру». Не дождалась. Умерла от гангрены. Тяжело перечитывать страницы дневника, посвященные последним ее дням. Холод, голод, безденежье, все, что возможно, продано. И милая, терпеливая, деликатная, ни на что не жалующаяся бабушка, только на темноту жаловалась – сэкономили керосин на коптилку – и на отсутствие людей. А она их так любила.

Из Сониного дневника: «Маме ужасно тоскливо. Зина целый день на своем заводском медпункте, я в этой никому не нужной библиотеке, и она одна с несимпатичной женщиной [(домработницей Мотей)], ни писем, ни прогулок, ни знакомых... Маме хотелось радости. Придет какой-нибудь знакомый человек, и она находит: такой он симпатичный, такой милый...» Покоится бабушка на Байковом кладбище, под разросшейся уже березкой. В одной ограде с ней теперь и тетя Соня. Лежат рядом. Они очень любили друга, хотя бабушка и побаивалась ее.

Приведем здесь одно замечание, не очень приятное для внука, так элегически описывавшего свою бабушку. В письме киевской корреспондентки И.Р. Классону упоминалось, что З.Н. Некрасова побывала на Байковом кладбище 27 марта 1962 года, в день девятнадцатой годовщины со дня смерти Алины Антоновны. Побывала в связи с похоронами знакомого инженера Константинова, ее сверстника восьмидесяти двух лет. Но на мамину могилу не зашла – «было грязно»!

В связи с этим С.Н. Мотовилова припомнила: «Да, а Вика – любимый мамин внук, никогда на ней не бывает! Зина одной знакомой говорит, что Вика был на кладбище. Та спрашивает: «На каком?». И Зина достойно говорит: «Ведь Вика бывает только на еврейском кладбище»».

В письме в Лозанну через год после этого С.Н. Мотовилова еще более критично оценивала своих разбогатевших родственников:

Вика никогда не бывает на могиле бабушки <...>. Ограду мы поставили с Зиной вдвоем, она стоила тогда 2 000. Я тогда еще работала, и мы с Зиной дали по тысяче, ну, а на памятник у меня уже денег не хватало. У них денег было сколько угодно, за одно издание «Окопов [Сталинграда]» Вика получил 65 000, а их было у него до тридцати. Были, конечно, издания и дешевле. Ну, а памятник, который я хотела заказать, Зина и Вика не одобрили. <...> Я все-таки настояла, и хоть плохенький, но все-таки какой-то памятник есть и стоил он тогда всего 1 500, теперь это было бы 150 руб.!

Если бы у меня были деньги, я бы и папин памятник в Симбирске восстановила. В 1950 году, *когда мы с Зиной туда приезжали, то оказалось, что* был украден только мраморный крест, а глыба серого мрамора, на котором он стоял, еще была. Надо было только поставить ограду и крест на глыбе. Но у меня же не было денег.

Ранее, в письме за 1953 г. в Лозанну, приводилось описание памятника А.А. Мотовиловой, который все-таки оплатил внук:

Мы, наконец, (на одиннадцатый год!) поставили памятник на маминой могиле. Памятник простой, трафаретный: аналог [(высокая подставка, на которую при службах кладут для чтения церковные книги, ставят иконы и крест)] с раскрытой книгой и над ним небольшой мраморный крест. Вера, верно, не помнит, такой же памятник стоит на могиле отца Ленина в Симбирске. Папин памятник там разрушен, ну а отца Ленина сохранился. В детстве Зине этот памятник [папе] очень нравился. Ну вот, в таком духе мы поставили на маминой могиле.

И тут мы заодно дадим свидетельство местного краеведа Жана Миндубаева. За отсутствием оно в Интернете приведем цитату из книги Дмитрия Волконогова «Ленин»:

Как писал журналист и краевед Ульяновска Ж. Миндубаев, превращение старинного города в «грандиозный ленинский алтарь» сопровождалось «громким погромом». В ходе его, как с болью отмечал исследователь, “ломалось все – причем в прямом, чисто физическом смысле. Начав с переименования города под лихим лозунгом «Осиновый кол в могилу старого Симбирска!», местные преобразователи с потрясающей бездумностью сносили древние церкви, соборы, монастыри. Снесли все!

<...> Кафедральный собор в память о симбирцах, погибших за отечество в 1812 году, взорвали для того, чтобы расчистить место для памятника Ленину. <...> Вместо всяких там Лисиных, Солдатских, Дворцовых появились улицы Маркса, Энгельса, Либкнехта, Люксембург, Плеханова, Бебеля. <...> Кладбище Покровского монастыря, где были похоронены многие достойные симбирцы, исчезло вообще. Оно было превращено в сквер, и в нем, веселеньком, сохранена одна-единственная могила Ильи Николаевича Ульянова. Да и ту осквернили: отбили крест на надгробном памятнике. Как же: отец вождя революции – и покоится под крестом?!

Выходит, могила Н.И. Мотовилова в начале 1950-х еще сохранилась, а затем большевики уничтожили ее, как и множество других захоронений «достойных симбирцев», при устройстве городского сквера?

А теперь развернем биографию С.Н. Мотовиловой, при этом нам придется упоминать и других персонажей, с которыми она была или знакома или работала или боролась с ними. В то же время «линии жизни» ее племянника и сестры мы свели в отдельный очерк «Виктор Некрасов в разных измерениях». Дело в том, что С.Н. Мотовилова сначала жила вместе с ними в одной коммунальной квартире, а потом – недалеко от них, продолжая общаться не реже чем раз в неделю-месяц. И сама того не подозревая накопила в своих письмах в Лозанну и Москву богатейший материал о родственниках.

Как мы уже упоминали ранее, в 1982 году в Москву из Швейцарии при посредничестве И.Р. Классона вернулись письма, которые Софья Николаевна писала матери и сестрам в Лозанну и Париж, и другие архивные документы. Они составили ф. 786 отдела рукописей РГБ. А в 2007 году автор этих биографических очерков сдал на хранение в РГАЭ (ф. 9508) письма С.Н. Мотовиловой из Киева И.Р. Классону в Москву.

В то же время о В.П. Некрасове и его родственниках, как мы далее увидим, уже сформировались неправдоподобные мифы (в т.ч. усилиями самого писателя). И развенчанию их мы посвятим, между прочим, следующий очерк.



Кафедральный собор в Симбирске, состоял из двух храмов – Никольского зимнего (слева) и Троицкого летнего, неотапливаемого (теперь на этом месте грандиозный памятник «вождю мирового пролетариата»)

А пока приведем свидетельство племянника С.Н. Мотовиловой о непростых отношениях в семье:

Бабушка понимала и простых [людей], и сложных. А сложнее всех была ее собственная дочь Соня. Удивительно, до чего же разных трех дочерей родила бабушка. Старшая – Зина, моя мать, Зинаида Николаевна – веселая, общительная, доброжелательная, любящая концерты, театры, путешествия, прогулки, которых сейчас в свои девяносто лет она, увы, лишена; младшая – Вера, ее я не знаю, она как вышла замуж в Швейцарии, так и оставалась там до своей смерти – говорят, была чопорной, светской, малообщительной, с большим разбором выбиравшей немногих своих друзей; третья – средняя – Соня.*

Ее, между прочим, бесстрашная бабушка побаивалась, пожалуй, даже больше, чем коров и гусей. Характер у тети Сони был нелегкий. Добрая в душе, желавшая всем помочь, и не только желавшая – готовая отдать последнюю копейку, она делала это так властно и деспотично, что многие от нее просто шарахались.

<...> Ну, не то что побаивалась, просто она любила тишину, покой, мир, а тетя Соня вечно по поводу чего-то негодовала, чем-то возмущалась, против чего-то протестовала, и всегда громко, с хлопаньем дверьми. Бабушка вздрагивала и жалобно смотрела на меня. А вечером, когда надо было идти в ванную умываться, она пальчиком манила к себе и шепотом говорила: «Поведи меня ты. Она там меня терроризирует – не то мыло взяла, не то полотенце». (Из очерка «Алина Антоновна»)

* Т.е. из народа.

В очерке же «Мама» племянник уже сравнивал тетку с Советской властью (sic!):

Мать не баловала меня (это являлось прерогативой бабушки), но глубоко была убеждена, что хвалить лучше, чем порицать. Думаю, что она была права. Сужу по себе – похвалят, стараюсь сделать еще лучше, поругают – не исправляюсь, задираюсь, настаиваю на своей правоте. Уверен, что в какой-то степени именно это сыграло определенную роль в моих отношениях с теткой, домашним диктатором, и Советской властью. Обе делали упор на мои недостатки, строптивость, мать же если и не всегда потакала, то, как говорится, мирволила.

Мы будем далее, по мере возможности, приводить свидетельства противной стороны, т.е. тетки. Но судить ни ту, ни другую сторону все же не осмелимся – на это мы никаких прав, даже родственных, не имеем!

В Приложении к этим биографическим очеркам приводятся «Литературные труды С.Н. Мотовиловой», где она с ностальгией описывала свою жизнь в провинциальном городишке (главки «Детство. Симбирск», «Дядя Алеша» и “Мое «литературное творчество»”). Данные воспоминания основываются не только на ф. 786 Отдела рукописей РГБ, но и на фондах 321, 358 и 369 того же фондохранилища.

Вот развитие упомянутого в них сюжета в частном письме Софьи Николаевны:

Когда мне было пять лет, я попросила моего отца написать мне стихи. Он сочинил:

*Вот шестое февраля
Соня, милая моя
С днем рожденья поздравляя
Быть веселенькой желаю
Что писать еще, не знаю
И стихи свои кончаю.*

И вот последние пять лет Зина ежегодно в этот день присылает мне поздравительное стихотворение, которое всегда начинается: Вот шестое февраля, Соня, милая моя... Трогательно? Восемидесятилетняя старуха пишет стихи семидесятидевятiletней!

И, действительно, сохранилась, например, поздравительная «Ода», отправленная З.Н. Некрасовой из дома отдыха писателей в подмосковной Малеевке С.Н. Мотовиловой в Киев в 1963-м и пересланная затем в Лозанну.

А вот развернутый сюжет о «первой и последней любви» нашей героини:

Когда мне было восемь лет, а Наде [Пятницкой] – десять, мы обе были влюблены в Борьку Витмера. К Наде он был благосклонен, а меня дразнил. Сам-то он был слегка влюблен в тетю Соню. Но они с дядей Пашей все время проводили с нами, детьми (играли в крокет). Помню, вечер, до ужина. Ужин в [Мокрой] Бугурне бывал ведь в девять часов, а после него мы все шли спать. Сидим мы все на лестнице на балкон к избе. Изба стояла не в «господском» дворе, а недалеко от «застольной», где ели «люди». Дядя Паша, Борька, дети Пятницкие и мы с Зиной. Тебя не помню.

Зина и Надя просят Борьку, чтоб он прислал им свои [фото]карточки. Он отвечает: «Наде и Зине я пришлю, а Соне не пришлю». Дурак тоже – ему двадцать один год, а мне восемь! Ну, такого оскорбления я, конечно, терпеть не могла. Бросаюсь на балкон, в комнатах полумрак. Встречает меня тетя Маня (ей было лет семнадцать) и грубо спрашивает: «Чего ты, Соня, ревешь?» А я среди рыданий отвечаю: «Я не знаю, что мне делать от любви к Борьке!» У тети Мани брезгливая гримаса: «Какая пошлость!».*

* Здесь обнаруживается небольшое несоответствие: летом 1889-го С.Н. Мотовиловой было уже восемь лет, а Б.А. Витмеру шел еще девятнадцатый год.

Я долгие годы не могла понять, причем тут «пошлость». Ну, а потом поняла. В 1923 году тетя Вера, жившая у нас в Киеве, вспоминала, как они в Петербурге катались на коньках с Борисом Александровичем [Витмером], и тетя Маня была влюблена в Борьку. Ну, конечно, им было обидно, что Борис Александрович на них [в Мокрой Бугурне] никакого внимания не обращал, а все время играл в крокет или гулял с нами, детьми. А ты помнишь, как нас подло обманула [восьмилетняя] Люба Пятницкая? Она была маленькая, и Борька ее всегда подкидывал над своей головой. Мы просили ее взять с его головы (Бориса Александровича) волосы нам на память.

В один прекрасный день она дала нам какие-то вьющиеся волосы, я сейчас же их вложила в медальон. Он висел у меня на шее рядом с крестом, и в нем были фотографии мамы и папы, туда же я вложила и Борькины волосы. Надя тоже носила их в чем-то на шее. И вдруг через несколько дней Люба нам со смехом говорит, что это вовсе не Борькины волосы, а она просто отрезала клочок шерсти у собаки Шмарганки.

Господь-то и наказал Любу за это издевательство над нами: у нее в жизни были три несчастные любви. Ну, а для меня моя любовь к Борьке в восемь лет подействовала очень хорошо, как прививка: больше никого, никогда я уже не любила.

«Три несчастные любви» Любови Пятницкой, точнее – три неудачных ее замужества описывались в другом письме:

Три мужа, мерзавца, и из них два – жулики! Ибо [(первый муж)] Цветаев забрал у нее все ее состояние – 10 000 [царских рублей], и она осталась без средств. Нужда на всю жизнь. Осколков [(второй муж)] жуликом, правда, не был, но дал ей дочь [Леночку], которой никогда ничем не помогал! Третий муж, венгерец [(бывший военнопленный Пап)], это уже был совсем мерзавец. Прикинулся коммунистом, очень любящим Любу, ухаживал за ней во время ее тифа, оказался двоеженцем, пришлось у нас судиться. К счастью, Любу в этом случае поддержал Луначарский.

<...> Любиного мужа, венгра-коммуниста избавили по суду от его другой жены, дали ему возможность вернуться в Венгрию. Мы получили тогда такую радостную открытку от Любы из Риги, подписанной его фамилией. Ну, а когда они приехали в Венгрию, Любин муж оказался вовсе не коммунистом, а богатым буржуем, его ждала жена с взрослыми детьми! Надо же это [было Любе] пережить! А затем всю жизнь [во Франции] нужда, нужда без конца. Не знаю, искупается ли это счастьем иметь своего ребенка?

А вот совсем уж патриархальный сюжет, про ту же Мокрую Бугурну:

Сегодня <...> Зинино рождение, ей минул семьдесят один год. А я помню, как мы праздновали ее шестнадцатилетие в [Мокрой] Бугурне. Мы с девочками Пятницкими сделали цветные фонарики и украсили ими фасады Бугурнинского дома и флигеля. Очень было красиво, а Петя Пятницкий с поваренком сделали фейерверки и пускали их. Бугурнинская усадьба далеко отстояла от деревни, но о фейерверках крестьянам, верно, поваренок сказал, и крестьяне пришли смотреть. В усадьбу, конечно, не входили, а стояли далеко за двумя оградами.

В этом сюжете речь шла и о Петре, сыне Лидии Ивановны и Николая Федоровича Пятницких, у последних еще были уже упоминавшиеся дочери Надежда, Любовь, а также Вера. И это действие происходило в 1895 г.

В одном из писем С.Н. Мотовилова так живописно описывала поездку в родной город:

В 1950 году мы были с Зиной в Симбирске. Нам очень повезло. Мы застали еще три квартиры, где жили, осмотрели их, снаружи, конечно. В одной квартире нам сказали, что тут находится старожилка, наших лет, может, мы зайдём к ней и вспомним прошлое. Мы зашли. Нас встретила не она, а ее младшая сестра.

Я сказала: «Мы Мотовиловы, вы, верно, кого-нибудь из них знаете?». Она сердито переспросила: «Помещики?» Да, говорю. Лицо ее сделалось бешеным, и она ответила зло: «Я никогда ничего общего не имела с помещиками». Тут уже вышла старшая сестра, но мы объяснили наш приход и поспешили ретироваться. Пятницкие сказали, что мы неправильно начали. Старушка эта является симбирским экспонатом. Ее привозят на все Ленинские торжества, и она о чем-то рассказывает. Так надо было начать с того, что мы знакомы с Лениным, и он был у нас.

Цел был и дом, где жили бабушка Луиза Францевна и дедушка Иван Егорович. Дедушка часто приходил к нам, а с бабушкой отношения были прерваны. Узнав, что бабушка хочет продать их родовое имение Цыльну, папа решил его купить. Продал свой хутор, чтоб собрать деньги, а бабушка, не сказав ему ни слова, потихоньку продала свое имение, какому-то другому Мотовилову. Папа никогда ее, свою мать, больше не видел. Мы ездили в [Мокрую] Бугурну без папы.

Дом в Симбирске был не бабушкин, а просто она его снимала. И в этом доме, когда были девочками [тети] Маня и Вера, устраивались танцклассы, на которые приезжали сестры Ленина.

В другом письме Софья Николаевна напоминала, у каких Пятницких они гостили в Симбирске-Ульяновске:

У тети Лиды было четверо детей: три дочки и один сын Петя. Кажется, в 1904-м или 1905 году Петя стал эсером. Он женился на какой-то поповне, некрасивой и страшно ревнивой. У них была одна дочка Лида. <...> В 1905 году Петя с женой уехали в Париж, в эмиграцию. Он окончил там сельскохозяйственный институт, стал агрономом. Они вернулись в Симбирск в 1917 году. Петя работал агрономом, а у жены его был свой дом, наследство от отца. В каком году Петя умер – я уже не помню. Его дочь Лида училась тоже в сельскохозяйственном институте, кажется, в Саратове.

После смерти Пети они, похоже, нуждались. Лида во время [Первой мировой] войны зарабатывала игрой на рояле в кино. Затем в нее влюбился один врач (тоже духовного звания, как и ее мать). Он готовился к профессуре. Она поставила ему условием, чтоб он бросил Москву, научную карьеру и жил с ней и ее матерью в Симбирске. Он врач-психиатр, почему-то очень много зарабатывал. Они выменяли материнский дом на большой с садом, приплатив конечно.

«Врач-психиатр» – это Александр Иванович Скипетров, который ради своего семейного счастья уехал из Москвы и дослужился до должности главного врача Карамзинской психоневрологической больницы под Симбирском-Ульяновском:

Среди фигур, прошедших в те годы рядом с нами, даже как-то вклинившихся в нашу семью, оказались Гораций Аркадьевич Велле, его жена Фанни и двое их сыновей – Юрий и Вовка. Они познакомились с Никитой чуть ли не на улице (это было в конце 1951 г. или зимой 1952 г.). Были они во Франции коммунисты, смутно существовали какой-то семейной трикотажной мастерской, а Фанни, очень привлекательная, а временами и просто красивая, была коммивояжером у парфюмерной фирмы Dosteur Rayot, которая тогда только начиналась. <...> Фанни – милая и добрая женщина, которой тогда было всего сорок лет, – была, увы, сумасшедшей: первые признаки безумия обнаружились сразу после окончания войны. А когда она приехала в Ульяновск, ей стало хуже, она неоднократно попадала на месяц-два в психдиспансер, во главе которого стоял замечательный врач, знавший свое трудное дело психиатра до тонкости и всегда благожелательный – Александр Иванович Скипетров; я от него видела много добра и внимания к себе, хотя до психдиспансера сама и не дошла, – а ведь в 1954 г. и я была от него недалеко; но это он меня удержал на поверхности, когда я вдруг начала тонуть... – Н.А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни. М., 1999

Симбирскъ. Набережная.



А вот описание жуткого состояния советского Ульяновска:

Когда я в 1916 году заезжала в Симбирск, [наш старый знакомый] Леня Березников был тогда городским головой. Симбирск процветал. Утопал в зелени, среди маленьких деревянных домов появились новые, двухэтажные в стиле Модерн. Порядок в городе был полный. Я остановилась тогда в какой-то гостинице, никого из знакомых не видела. Зашла на кладбище, папина могила была в полном порядке.

А когда мы приехали туда в 1950-м году, это был сплошной ужас. На большинстве улиц никаких тротуаров, никакой зелени. Вылезли мы с Зиной с парохода со своими вещами. Ни извозчиков, ни трамвая – ничего! Наконец подвернулся какой-то босяк. Взял наши вещи, сказал, что хорошо знает, куда нам надо. Про себя сказал, что он «псих». Ведь муж Лиды, дочери Пети [Пятницкого], врач-психиатр, и все эти «психи» у него лечатся. Это вовсе не психи, а просто пьяницы, но у нас их от пьянства лечат, лечение ведь у нас даровое. Ну так с этим психом-больным мы поперли прямо от пристани по жуткой горе, где даже дороги нет. Жарища стояла убийственная. На полдороге нас встретила жена Пети с внучкой. Их дом стоит как раз на верху горы над пристанью. В невероятно запущенном состоянии был тогда Симбирск.

«Сплошной ужас» был, по-видимому, вызван тем, что большевики вкладывали все деньги в помпезный мемориальный комплекс своему «отцу-основателю», а благоустройство всего города игнорировали.

А теперь вернемся в конец XIX века и приведем свидетельства весьма юной С.Н. Мотовиловой о «дружбе» с ранее упоминавшимся Я.П. Коробко. Последний постоянно бывал, когда он наведывался вместе с Р.Э. Классоном в Москву, у Алины Антоновны, например, в 1894-м:

Моя дружба с Коробкой? Он принимал участие в моих делах. Мне было тринадцать лет. Дарил мне вещи (чернильницу-мопса), показывал портнихе, как нужно переделать платье, чтоб я не казалась такой худой, проверял мою задачу. Я решила ее совершенно верно, но это была частная, подлая гимназия, все получили четверки и пятерки, а я – два с минусом. Коробко как раз был у нас, когда происходила у меня эта драма.

В те годы Классон и Коробко, приезжая из Петербурга, останавливались у нас. Заказывая диван, мама сказала: «Сделайте его длиннее, у нас часто ночуют мужчины». Мама потом находила, что эта фраза была неудобна, а я никак не могла понять, что тут плохого.

Это Коробко повел нас впервые в Третьяковскую галерею. Я была очень нервна, и Иоанн Грозный Репина, убивающий своего сына, произвел на меня ужасающее впечатление. В этом моя «дружба» с Коробкой и заключалась.

Продолжение воспоминаний нашей героини из времен гимназической юности:

Я всю жизнь ненавидела готовить уроки, а в разгар экзаменов вдруг начинала с увлечением читать «Евгения Онегина», забыв все на свете и предстоящий экзамен. В Лозанне у меня была учительница, которую я обожала, боготворила, и которая мне действительно много дала для моего культурного развития. И все-таки выучить для нее урок я не могла и всякий раз мечтала: может быть, она заболит и не придет. Но она приходила, и когда оказывалось, что я ровно ничего не знаю, смущенно смеялась. А дала она мне больше всех на свете.

Правда, после ее уроков я держала экзамен в 4-ю московскую гимназию. Блестяще сдала французский язык. Мне попало единственное место из грамматики, которое я знала – «l'accord du participe passe» [(«согласование причастий в прошедшем времени»)]. Француз был поражен моим знанием и пожелал мне так же блестяще выдержать все остальные экзамены. Следующий экзамен был у Фортунатова (потом я слушала его лекции на коллективных курсах, очень серьезный историк). Он спросил про войну Алой и Белой роз. Я не сказала ни слова <...>. Знаю – мои дамы перед экзаменом умоляли профессора, ни в коем случае не ставить двойки или единицы. Он поставил ноль. Далее я сделала диктант, полный ошибок. На этом кончилось, меня не приняли.

Тогда мама поняла: чтоб выдержать экзамен, к нему надо подготовиться. Начальница гимназии Перепелкиной прислала свою protégé, семнадцатилетнюю графиню Ребиндер. Она была немножко глупа, но очень требовательна. Занималась еще с нашей Верой, Вера так ее боялась, что лезла под стол в столовой перед уроком и не хотела выходить. Но мы обе выдержали.

Поясним, что 4-я государственная женская гимназия размещалась тогда в построенном для нее доме №3 по Садово-Кудринской улице. А частная женская классическая гимназия З.Д. Перепелкиной размещалась в надстроенном для нее доме Коншина (№4) в Большом Кисловском переулке.

И приведем такую характерную деталь: «Мама никогда не интересовалась нашими отметками, это у нее самой в дипломе круглое 12. Ну и золотая медаль была, которую мама продала в первый же год революции». Напомним, что Алина Антоновна обучалась в Смольном институте благородных девиц.

Как известно, в гимназиях преподавали и Закон Божий. Вот в чем Софья призналась как-то сестре Вере:

Поздравь меня, сегодня воскресенье [5 декабря], день [Сталинской] конституции. Это, включая новый год, 7 ноября, 1 мая, у нас единственные [советские] праздники. А помнишь, в Царское-то время сколько бывало праздников: и Рождество, и Пасха, и Троица, какие-то двенадцатые праздники и царские дни. Я, по правде сказать, все путала, и от одного частного урока мне отказали, так как я Казанскую Божию мать приняла за двенадцатый праздник. Жили мы [раньше] за границей, в церковь не ходили. В гимназии я ужасно боялась нашего попа. Говорили, что за каждую ошибку в молитве он отлучает от церкви. А я вдруг возьми да скажи: «Бог Саваох» вместо «Саваоф». Но это как-то сошло. Помнишь, как мама везла меня на экзамен по Закону божиему? По дороге мы заехали в аптеку, и мама заставила меня принять валерианку.



А вот заграничный сюжет из 1891-го года:

Ты знаешь, я в архитектуре мало смыслю. Помнишь, мы приехали в Вену. Мама все восхищалась архитектурой зданий. Мне было десять лет, а тебе – шесть. Я не понимала, что тут красивого в этих громадных зданиях из серого камня. Мне казалось, куда лучше наши маленькие деревянные дома в Симбирске, с деревянными украшениями, а некоторые раскрашены в белый или розовый цвет. Ты не помнишь, в Вене мы ехали в конке, и мама соседа спросила, что это за прекрасное здание, а сосед ответил: «Из какой дикой страны вы приехали, что не знаете, что это наша Опера!»? А у нас как раз был *presse-parièr* из стекла, здание этой оперы, но мама не сразу узнала.

А не помнишь, в какой церкви мама рассердилась на какого-то сторожа: «*Verfluchter Teufel!*» [(«*Черт проклятый!*»)]? Мы и Ева [*Засецкая*] страшно смеялись.

А помнишь, как маме в банке вместо австрийских денег дали итальянские, и их не принимали на вокзале? Тогда много было жулья в Австрии! Мама очень взволновалась, забыла немецкое слово «*betrügen*» [(«*обманывать*»)] и кричит им «*Warum trompiert man in ihrer Kaiserlichen Bank?*» [(«*Почему трубно сморкающийся человек [служит] в вашем Императорском банке?*»)]. Они покатались со смеху и дали маме билеты, а мы с Евой сидели уже в вагоне. И вдруг наш поезд двинулся, это он маневрировал. Мама бежит, взволнованная, и видит – наш поезд уходит. А мы, такие глупые, высунулись из окна и смеемся. Не так-то легко маме было воспитать и вывести в люди трех дочерей. А мы были эгоистичны, как все дети.



Здание Венской оперы (старое фото)

В 1897-м наша героиня сподобилась встретиться с Л.Н. Толстым:

Мне было тогда шестнадцать лет, я училась в Московской гимназии. Толстого как художника [слова] я страстно любила, перечитывала много раз. Самое сильное впечатление от его вещей я получила в первые разы, когда их читала. «Детство и отрочество», «Война и мир» были глубочайшими переживаниями моего отрочества. Я любила Толстого страстно, как можно любить бога, создавшего свой особый мир.

Но я жила в среде интеллигенции, революционно настроенной. Не только марксисты, но и обыватели в то время иронически относились к нравственно-религиозным исканиям Толстого. Это было еще в конце 19-го века. Толстого считали чуть ли не ретроградом. Сама я была материалисткой, увлекалась Писаревым (кто в шестнадцать лет в нашу эпоху им не увлекался?), конечно, считала всякую религию ненужным суеверием. Толстого мне хотелось видеть вовсе не как учителя жизни, а просто как талантливейшего писателя, которого я страстно любила.

Но из встречи этой с моралистом, «учителем жизни» Софья вынесла двойственное чувство:

И когда я в пятый раз повторила: «Но почему же замуж выходить плохо?», Толстой вдруг серьезно ответил: «Потому что это апостол Павел сказал». Я изумилась. Почти с сожалением поглядела на Толстого и подумала: «Правы были мои знакомые, говорившие, что Толстой выжил из ума. Апостола Павла уже вспоминает!». (Другие подробности беседы см. в главке «Моя встреча с Толстым» «Литературных трудов С.Н. Мотовиловой»)



С.Н. Мотовилова, Москва, 1898 г. (с сайта памяти Виктора Некрасова)

В одном из писем московскому корреспонденту («Ване Классону») С.Н. Мотовилова так вспоминала о визитах к ним его отца:

*Классон был скорее некрасив, я не знаю, чем он нравился [другим женщинам]. Классон и тетя Соня сперва жили на Охте в Питере, а потом переехали в Москву и устроились в Садовниках на казенной квартире при электрической станции. Комнаты были большие, полупустые и освещенные ужасающе серым светом. Мы же жили на Кудринской-Садовой, против 4-й женской гимназии. Занимали флигель возле дома маминой институтской подруги [Екатерины Апполоновны Капканщиковой?], она флигель нам сдала. Она вышла замуж за купца-миллионера [Петра Карповича Капканщикова?] (у них было 7 миллионов руб. капитала). Как-то с этой дамой встретился у нас Классон. Она, обычно скучающая, очень оживилась, и Классон нашел ее более интересной и обаятельной, чем ее семнадцатилетнюю дочь, румяную и круглолицую – настоящую купчиху.**

* Мы уже приводили в очерке «Мотовиловы – от Тимофея Мотовила» ссылку на Н.П. Черепнина. «Императорское воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк (1764-1914)». В 3-х томах. Петроград, 1914-15. А именно из третьего тома:

Выпуск 42 (1874 год). <...> 37. Мотовилова, Лидия Ивановна, дочь корнета Ивана Егоровича, окончила с шифром; была замужем за Мотовиловым [за Н.Ф. Пятницким! – МК]. <...> 60. Эрн, Алина Антоновна, дочь ген.-майора Антона Эрн и Валерии Францевны, замужем за [Н.И.] Мотовиловым.

В то же время в списках выпускниц с 1869-го по 1879 г. включительно отсутствует Екатерина Апполоновна под какой-либо девичьей фамилией (в 1874 г., одновременно с Алиной Антоновной, были выпущены Екатерина Павловна Коссинская, дочь генерал-майора, и Екатерина Викторовна Пороховникова, тоже дочь генерал-майора). Возможно, что Екатерина Апполоновна не кончила полный курс, выскочив замуж за купца-миллионщика. Потомственный почетный гражданин Петр Карпович Капканщиков упоминается во «Всея Москве-1900» как владелец собственного дома на Садовой-Кудринской. К 1917-му появляется целое семейное гнездо Капканщиков на Садовой-Кудринской: в т.ч. в д. 12 – Петр Карпович, Екатерина Аполлоновна и Николай Петрович (их сын?, член автомобильного общества), а в собственном д. 18 – Борис Петрович. К сожалению, в Интернете есть много упоминаний о купце-миллионщике из Воронежа П.К. Капканщикове (ок. 1848 г. – после 1917-го) и ни слова о его супруге и дочери. Из писем С.Н. Мотовиловой становится известно, что Капканщиконы после большевистского переворота удачно переправили за границу много своих бриллиантов и долларов, в том числе при посредстве служащих французского посольства, и Алина Антоновна видела их потом во Франции.

Классон у нас бывал или один или с Коробкой, когда тот приезжал из Питера, а теть Соня у нас, по-моему, не бывала. <...> Мы слушали тогда на курсах [Герье] историю французской литературы XIX века, и очень много времени уделялось социалистам-утопистам. О них Классон тоже много знал. Узнав как-то, что мы это проходили, он с интересом сам стал о них рассказывать. Он очень тоже тогда интересовался искусством, но я в те годы совсем его не знала, да и Зина тоже, так что разговора об этом быть не могло.

В другом письме Софья Николаевна сообщила, что Р.Э. Классона она видела последний раз зимой 1898 г., в Москве. А затем семья Мотовиловых переехала в Киев, выезжала, как и раньше, за границу, и с Робертом Эдуардовичем эпизодически встречалась только Али-на Антоновна, опять же в Москве. Выходит, Софья Николаевна и родившийся в 1899-м Иван Робертович впервые увидели друг друга уже в весьма почтенном возрасте (см. очерк «Классонята»)!

Девочкой и девушкой Софья систематически ездила с мамой за границу. Про один эпизод – «русские в Швейцарии», мы уже рассказывали в очерке «Породниться с дворянами Мотовиловыми».

А вот еще один живописный заграничный сюжет, про старшую сестру Р.Э. Классона Анну (Иоганну) Эдуардовну, которая вышла замуж за итальянца Гектора Кристиани – как мы уже упоминали, оба они получили высшее образование в Женеве и там же осели:

Приблизительно тогда, когда Соничка родилась [(в 1892-м)], и у Кристиани должно было что-то родиться. Они вызвали маму в Женеву. Мама прогостила там неделю или больше. Роды были очень трудные, она обожала своего мужа, ей казалось, что она умирает, и она упрашивала маму в случае смерти выйти замуж за ее мужа, не интересуясь тем, нравится ли он маме или нет. Но, по-моему, она тогда ничего не родила.

Я была с мамой у Кристиани осенью 1894 года и на Пасху 1895-го. Детей тогда у них не было. В 1894 году т-те Кристиани пригласила нас на vendange [(сбор винограда)]. Я обрадовалась, уже видела (т.е. думала, что увижу) склоны гор, покрытые виноградниками и спускающиеся к голубому озеру, золотистый виноград, приятный его вкус.

Увы, винограда никакого не было, а Анна Эдуардовна жила в небольшом домике возле Женевы, и рядом – небольшой сад. И вот она заставила меня, мне было четырнадцать лет, лазить на деревья, рвать груши и яблоки. Есть она их не давала, а сейчас же прятала. Когда ее муж, вернувшись из Женевы, хотел полезть сорвать яблоки, она закричала, чтоб он не смел лазить на деревья, так как может упасть. А я?

В свободное время мы с Верой должны были чистить картошку. У нас дома имелись кухарки, горничные, картошку я тогда никогда не чистила. И вот Анна Эдуардовна на меня кричала, что я не так чищу, и на деревья плохо влезаю, и, наконец, обозвала меня «дурой». У нас это не было принято, ни в школе, ни у нас дома никто так не называл. Зина тогда находилась в Англии. Я была счастлива вернуться в Лозанну.

На Пасху [1895-го] мы с мамой поехали в Женеву, где была русская церковь, и я хотела быть к заутрене. Остановились в гостинице, а вечером зашли к Кристиани. Он уже был, кажется, назначен профессором, и она все хвасталась, как улучшаются их материальные дела. Наконец с гордостью сказала: «Поглядите, что у нас завтра к обеду». Позвала прислугу, и та принесла утку. Ну, мама выразила полный восторг, как они хорошо стали жить. Затем они спросили, когда мы завтра уезжаем, и, узнав, что после обеда, тоскливо переглянулись и пригласили нас к обеду. Тогда Анна Эдуардовна позвала прислугу и сказала ей: «Утку завтра не жарить, а купить просто мяса».



Гектор Кристиани, преуспевающий профессор



Иоганна Классон-Кристиани, Женева, 1910-е годы

Мы с мамой вовсе не *portees sur la bouche* [(не предаемся еде, не гурманы)], и вообще утка не представляла для нас чего-то особенного. Бабушка Валерия Францевна, правда в России, присылала нам из своего имения целые ящики битой птицы, больше всего индеек. Ну а это – мелкое мещанство Вашей тети. *Maupassant* описывал такие французские мещанские семьи. (из письма И.Р. Классону)

Скорее всего, это не мещанство, а привычка экономить на всем после голодных студенческих лет. Кроме того, отметим здесь, что недовольство Анны (Иоганны) Эдуардовны Софьей проистекало из уже давно возникшего различия в отношениях «господ и прислуги» в России и за границей.

Об этом хорошо сказано у Н.С. Лескова в рассказе «Домашняя челядь»:

Там [(в Европе)] очень многие, между людьми среднего достатка, нанимающими одну *bonne pour tout faire* [(прислугу на все дела)], сами опрашивают свои постели, убирают комнаты, сносят в ящик свои письма, заправляют лампы и даже сами ходят за своею провизией и многие с удовольствием растапливают зимою свои камины. Тогда *bonne pour tout faire* остается довольно время, чтобы сделать все остальное в своем обиходе. Но мы так не поступаем, а, напротив, мы беспрестанно командуем: «подай, прими и унеси» то, и другое, и третье, и таким образом мы затрудняем прислугу тем, что вполне легко было бы и самим сделать.

А оттого французская *bonne pour tout faire* и наша женщина, служащая в соответственной должности «одной прислуги», находятся совсем не в равном положении.

А вот примеры уже настоящей прижимистости швейцарцев:

Помнишь, я приехала к Вам в пансион из Веймара на Рождество [в 1898-м]? Вы жили где-то недалеко от *Mont Beven* (как это вместе пишется?). Там хозяева были: отец, мать и хорошенькая дочь. Я гостила у Вас две недели, спала у Вас, а мама ходила ночевать к [своей швейцарской подруге] *M-elle Broye*. Кормили там довольно плохо, и Вы решили переехать в пансион *Clément*. Тогда эта хозяйка подала на маму в суд. Обвиняла она маму в том, что к маме приезжала «грязная дочь», и она оставляла ее ночевать, а сама ходила ночевать к *M-elle Broye*. Решили на суд повлиять, и *M-r Broye* дал записку судье в пользу мамы. По-моему, это не совсем правильно – давить на суд.

Эта дама жаловалась, что мамина «грязная дочь» испортила ее ковер (я ела семечки, но я же их на ковер не бросала!). Судья спросил: «А сколько лет Вашему ковра?» И та с достоинством отвечала: «Тридцать пять!». Она очевидно считала, что ковры, как вино, чем старше тем лучше. Требовала, чтоб мама уплатила стоимость ковра. Но судья решил в мамину пользу. Не помнишь этой истории? Я ее знаю только по рассказам, я ведь [после Рождества опять] уехала в Веймар.

<...> Ты знаешь, я ведь всегда была независимой. Мама никогда ни в чем не стесняла нас, мы делали что хотели. Помнишь, как мама уехала с Зиной в Англию, а нас оставила [в Лозанне] на *Maupas* с *M-elle Bovarot*? Ужасно эта *M-elle Bovarot* угнетала меня. Почтенная седая дама, готовила на кухне в перчатках. Прислуги у нас тогда почему-то не было. Она заставляла меня целый день после школы сидеть за рукоделием и вышивать какие-то пыльные тряпочки. Зачем пыльные тряпочки должны быть вышиты? Она требовала, чтоб в субботу я не ходила в школу, а ходила с ней на базар покупать продукты, чтоб я научилась хозяйничать (из письма сестре В.Н. Ульяновой).

С.Н. Мотовилова в одном из писем обозначила временные рамки и другие подробности их наездов за границу:

В Швейцарию мы приехали осенью 1891 года. Этот год мы жили в пансионе. Летом 1892 года у нас появились тетя Соня, Классон, а затем Коробко. И мы сняли квартиру, где Соничка и родилась.

<...> И так, в Лозанну мы приехали осенью 1891 года. Мне было десять лет, а уехали мы оттуда в 1895-м. В этом году умерла бабушка Луиза Францевна. В Симбирск мы [на постоянное жительство] не возвращались. <...> После Швейцарии мы жили в Москве, а тетя Соня и Классон сперва жили в Петербурге на Охте, а потом тоже переехали в Москву. Пока мы устраивались в Москве, моя сестра, Вера, жила у тети Сони [в Петербурге? – МК].

И в другом письме:

Я все эти годы до революции жила отдельно от своей семьи. Уехала из дома, когда мне было семнадцать лет. С Зиной и [П.Ф.] Некрасовым вместе я жила только одну зиму в Лозанне в 1904-1905 году. Курсы наши [в Петербурге] были закрыты, и я училась в Лозаннском университете. Коле было тогда три года, а Вики вообще не было. О рождении Вики (я, конечно, знала, что Зина должна родить) я узнала из письма Коли. Ему уже было восемь лет. Он писал: «Ты знаешь, нам принесли сегодня детскую колясочку, у мамы (нет, он ее называл Зиной) должен родиться ребенок, он уже шевелится у нее в животе». Это было в 1911 году, я училась тогда в Лейпциге.

<...> Мы много раз бывали в Швейцарии. Я туда ездила чуть ли не каждый год, когда мама с Зиной жили там, а я училась на Бестужевских курсах [в Петербурге]. Первый раз мы поехали туда, по совету тети Сони, в 1891 году. <...> Вернулись мы из Швейцарии только через четыре года, в 1895 году.

Здесь мы опять-таки отсылаем любознательного читателя к «Литературным трудам С.Н. Мотовиловой» (главка «О Плеханове»), где описываются и детские заграничные впечатления нашей героини, и встречи с интересными персонажами в более зрелом возрасте.

Например, разворачивается подробно такой сюжет:

Когда мне было семнадцать или восемнадцать лет, мы с сестрой [Зиной] поехали в Женеву. Вероятно, слова [Р.Э.] Классона, что быть в Женеве и не пойти к Плеханову – все равно, что не заехать в Фернэ к Вольтеру, так врезались мне в память с детства, что я решительно заявила, что непременно пойду к Плеханову. Ни одного из его произведений я тогда еще не читала, Маркса тоже не читала, только несколько книг Энгельса, но как-то мало связывала Энгельса с Плехановым.

<...> Когда мы вышли [от Плехановых], я с изумлением увидела, что моя сестра плачет. Плаксой она не была. Она плакала со злости на меня, что я поставила ее в такое дурацкое положение.

– Ведь я же думала, что ты идешь к нему по делу, – с негодованием говорила она мне, – что тебе надо у него что-то спросить, а ты молчишь. Он говорит: «Чем могу служить?», а ты молчишь!

Значит, визит к известному теоретику марксизма Г.В. Плеханову состоялся в 1898-м или 1899 году. А вот краткое упоминание о незаконченной учебе в Лозаннском университете, уже в частном письме:

<...> Я наглости не люблю. Стоило когда-то нахально спорить со мной [профессору Францу] Люжону, несмотря на мой интерес к нему и к предстоящей интересной геологической экскурсии, конца семестра, я сейчас же уехала, бросив и мое учение у него и всякие отношения с ним. Он осмелился мне сказать: «Mademoiselle, vous dérailliez» [(«Мадемуазель, вы сорвались с катушек»)]. Я ему ответила: «C'est vous qui dérailliez, Ligeon» и уехала домой.

В мае 1900-го Софья оказалась в Лондоне:

Я еду в Англию, чтобы научиться английскому языку. Для этого я решила поступить в английскую школу-пансион и жить там на правах полуучительницы-полуученицы. Я должна была преподавать в младших классах французский язык, а сама тем временем учиться английскому.

<...>В этом пансионе я прожила около года, училась сама, учила малышей, узнала быт, жизнь Англии и встретила много новых людей. (главка «Англия»)

В Англии наша героиня побывала в гостях у известного толстовца В.Г. Черткова. Пообщавшись с ним, она дала весьма нелицеприятную характеристику этому «опростившемуся барину», как минимум дважды доведшему ее до слез своей грубостью и нарочитым глумлением. У В.Г. Черткова Софья познакомилась и со своим «будущим женихом» С.В. Андроповым:

«Студент», так мысленно я определила его. Высокий, неуклюжий, с слишком длинными, как у дьячка, волосами, с маленькими, косо поставленными по-калмыцки глазами, которые добро смотрели сквозь пенсне, с большим носом, жиденькой бородкой. Типичный русский интеллигент. Одет он был очень бедно, в некогда голубой, а теперь желто-зеленой косоворотке навывпуск. Чертков нас познакомил: «Вот человек, который прочел все три тома «Капитала» Маркса». Студент что-то сконфуженно стал говорить: он, видимо, очень смущался – некрасивый, неуклюжий, но удивительно мягкий. Мне он понравился. Понравилось и то, что он прочел три тома Маркса: я любила людей, которые много читают, и притом серьезные книги. <...> «Студент» этот был Сергей Васильевич Андропов, тогда он бежал из России и жил как эмигрант в Англии под фамилией Альбин. Ему было двадцать семь лет. (главка «О Черткове»)

А в письме И.Р. Классону наша героиня приводила такие забавные детали о целомудренных отношениях с «женихом»:

Знаете, очень любопытны письма Андропова мне. Характерны для той эпохи. Мы часто смеемся над современными писателями, что их влюбленные [герои] разговаривают о всяких производственных вопросах, о выполнении плана и проч. Но и тут ведь забавно – Андропов сразу влюбился в меня, а о чем он пишет? – о концентрации капитала и т.п. Когда я читаю современные романы, например Ремарка, мне просто противно: вечные выпивки, хождения по ресторанам, мужчины покупают своим дамам нарядные платья. Противно читать. Когда я познакомилась с Андроповым у Черткова, он приходил ко мне по вечерам, читал мне Эрфуртскую программу, Историю французской коммуны, Чернышевского, а я что-нибудь шила.

В 1902-м наша героиня опять встретилась со своим «женихом»:

Я приехала тогда из России в Женеву, куда бежали из Ачинска С.В. Андропов и В.П. Ногин. Они оба были увлечены своими партийными делами, восхищались статьями Мартова в «Искре» и, главное, были захвачены увлечением, поклонением Ленину. О расколе, который произошел потом на 2-м съезде, и не думали, наоборот, насколько я помню, все время говорилось, что съезд соединит воедино различные социал-демократические течения. Борьба, и очень острая борьба, шла тогда между социалистами-революционерами, отчасти анархистами и социал-демократами. (главка «О Н.К. Крупской» «Литературных трудов С.Н. Мотовиловой»)

Приведем, наконец, печально-романический рассказ, подводящий черту под отношениями с С.В. Андроповым (опять из частных писем):

Уехала с ним в Гейдельберг, он страшно интересовался физикой, из него мог выйти крупный научный работник, но как только я уехала из Гейдельберга, он бросил все и вернулся в Россию. Тогда он говорил, что без меня жить не может. Для меня это было ужасно, ведь я его не любила, а из жалости вечно возилась с ним.



*Сергей Васильевич Андропов, ~1900 г.
(Из книги А.С. Давыдова, Е.И. Демешинной, В.А. Золотова, Ю.К. Кириенко
«Люди земли донской». Ростов-на-Дону, 1983)*



С.В. Андропов, С.-Петербург, 1910-е? (с сайта памяти Виктора Некрасова)

<...> С.В., когда я приехала в Женеву (мне надо было доставить туда какого-то мальчишку) и в тот же день уехала из Женевы к Зине в Лозанну, С.В. как безумный пошел за моим поездом. Шел всю ночь, шестьдесят километров. И утром у Зины, когда я вышла в столовую, с изумлением увидела его. И пароходы, и поезда ходят сколько угодно между Женевой и Лозанной. Глупее, как всю ночь идти по дороге, трудно что-либо себе представить.

И вот, когда я увидела его в 1950 году в Москве после пятидесяти лет нашего знакомства и тридцати пяти лет «раззнакомства», он ничего этого не помнил. Не помнил, что я больше месяца жила с ним в Гейдельберге, говорил: он жил там один.

Люди каждый по-своему создают легенду своей прошлой жизни. Помнят то, что им приятно, и стараются забыть то, что неприятно. По-видимому, С.В. казалось, что это из-за меня погибла его научная карьера. Он как-то мне написал, лет через двадцать после нашего разрыва, что его любовь ко мне была величайшим несчастьем его жизни. Чего же ради я все для него делала <...>?

<...> В Усть-Сысольске, когда туда выслали Сергея Васильевича, я провела два лета. [Его сестра] Надежда Васильевна просила меня по летам приезжать к Сергею Васильевичу. Дело в том, что когда в первый раз его выслали в Усть-Сысольск, это было осенью, на следующий день после его приезда уходил последний пароход. Он сел на него и приехал в Петербург. Он тогда был дико влюблен в меня и уверял, что он не может жить там, где меня нет.

Когда я приехала в Женеву в 1903 году и оттуда сейчас же к Зине в Лозанну, С.В. всю ночь шел из Женевы в Лозанну и к утреннему кофе сидел уже в столовой, измученный этим ночным путешествием. Я не любила его, но мне льстила его безумная любовь. Я считала его своим Ritter-ом Toggenburg*. В Петербурге каждый сыщик С.В. знал, и ему было опасно там находиться. Когда его опять арестовали и выслали в Усть-Сысольск, Надежда Васильевна просила меня по летам приезжать к нему. Это было, кажется в 1909-1911 годах. Помню, что я послала ему телеграмму о смерти Толстого в 1910-м.

Ему послали туда пианино, чтоб он мог наслаждаться музыкой. По зимам он там страшно тосковал, ну а по летам я жила у него. Т.е. мы жили, конечно, отдельно, в отдельных комнатах. Но уже в Усть-Сысольске, это был десятый-одиннадцатый год нашего знакомства, я почувствовала, что его любовь ко мне идет на убыль.

А между тем я ведь бросила тогда Лейпциг, где занималась, и помню как один студент (он был уже «доктор», но все еще слушал некоторые лекции) уговаривал меня принять участие в их геологической экскурсии в Гарц. Мне казалось всегда, что ради «хорошиста» С.В., его будто бы такой бесконечной любви ко мне, я должна жертвовать собой. А он все повторял, что я «жестока».

<...> Нет ничего отвратительнее, когда человек любивший перестает любить. Ужасно противно. <...> В 1913 году С.В. держал государственный экзамен. Готовился невероятно много. И после каждого экзамена приходил ко мне, рассказывал [о нем] и говорил: «Как хорошо, что ты приехала, мне есть с кем поделиться».

А когда я ему раньше рассказывала о своих экзаменах, он заявлял: «Как ты можешь придавать значение такой чепухе?» Я вот не понимаю – для чего врать? Я ведь никогда не скрывала от него, что не люблю его, а он все врал, что по-прежнему любит, ему «дорога каждая моя вещь». Кончилось благополучно. Он женился (я ему давно советовала) и был счастлив. Жена была великолепной музыкантшей, училась вместе с Рахманиновым. Достаточно видеть его тогдашнюю фотографию: веселый, а не мрачный как со мной.

* Главный герой баллады Шиллера «Рыцарь Тоггенбург».

Вернемся к заграничной жизни и к юной Софье:

Когда я была в Лондоне в 1901 году, я решила ехать в Россию через Швецию. Я была очень экономна, не любила на себя много тратить. <...> Вскоре получила ответ из Швеции и чудесно провела время в уютнейшем пансионе в местечке Висбю на острове Готланд (см. мини-главку «между Лондоном и Петербургом» в «Литературных трудах С.Н. Мотовиловой»).

Итак, осенью 1901-го наша героиня приехала из Швеции в Россию, чтобы поступить в Петербурге на Высшие женские курсы. Этот эпизод, а также продолжение встреч-свиданий с «друзьями-революционерами» отражен в живописной главке «Петербург»:

<...> В сентябре начались занятия на курсах. <...> Поступила я на физико-математический факультет, химическое отделение. Я считала, под влиянием Писарева, что естественно-научное образование должно быть положено в основу всякого знания. Теперь, на старости лет, я с грустью думаю, что это была большая ошибка с моей стороны: никакого призвания у меня к естественным наукам не было.

<...> Помню, иду я по Гороховой с курсов, и кого вижу! Навстречу мне идет Виктор Павлович Ногин. Я с Англии его не видела. Обрадовались мы друг другу страшно. Я сейчас же потащила его к себе. Мама тоже ему очень обрадовалась, она видела его только мельком в Лозанне. [Прислуга] Ксюта сообщила маме: «Барышня привела к себе учителя».

Виктор Павлович стал довольно часто бывать у нас. От него мы узнали, что Сергей Васильевич Андропов арестован и сидит в [Петропавловской] крепости. Виктор Павлович очень тревожился о нем и уговаривал меня, чтоб я назвалась его невестой, и мне тогда дадут свидание. Сам Виктор Павлович жил как нелегальный. Он привез тогда [так называемый] транспорт: «Искру», «Зарю», «Что делать?» Ленина и какую-то записку Витте. Однажды, когда Виктор Павлович был очень обеспокоен, я стала приставать к нему – что его угнетает? Он ответил, что беспокоится за привезенный им транспорт, там, где он находится, – небезопасно.

«Привезите его сюда», – предложила я. Виктор Павлович, всегда чуткий и деликатный, [возмущенно] сказал: «Как Вы можете так предлагать? Это не Ваша квартира, а Вашей мамы». Я пошла к маме, она поддержала меня. В дальнейшем меня устранили от этой истории с транспортом. Виктор Павлович все переговоры вел с мамой, и в один прекрасный день она куда-то поехала и вернулась на извозчике с тяжелой корзиной, полной нелегальной литературы, которую швейцар почтительно внес в нашу квартиру.

В дореволюционные годы связь с подпольщиками могла закончиться весьма плачевно для Мотовиловых (и Софья даже какое-то время посидела в заключении в Литовском замке). Но провокатор, который завелся в петербургской организации РСДРП, о передислокации нелегальной литературы к Мотовиловым так и не узнал, и все кончилось благополучно:

Виктор Павлович строго соблюдал конспирацию. Рассказывая мне что-нибудь, он говорил: «Город, в котором я был...», не называя [конкретного] города. В это время он все говорил мне: «Один мой товарищ». Я почему-то представляла себе этого товарища пожилым, с длинной бородой, и была очень удивлена, когда «один мой товарищ» оказался молоденькой, хорошенькой девушкой. Ходил к нам Виктор Павлович не больше двух недель, затем его арестовали. Потом выяснилось, что тогда всех выдал какой-то провокатор – Гурвич, кажется, его звали. Но после ареста Ногина еще долго транспорт с нелегальной литературой стоял у нас, и «один мой товарищ» – хорошенькая девушка приходила и по частям забирала ее.

А вот как С.Н. Мотовилова обобщила «революционную деятельность» Алины Антоновны:

*Вы не можете себе представить, какой храброй и благородной была моя мама. Какое участие она принимала в людях, как ничего не боялась. Однажды мама везла мне в грязном белье анархические брошюры. На границе это обнаружили. Мама рассердилась и закричала: «Не троньте мое белье», и офицер сказал жандарму: «Оставь». У мамы был вид *grande dame*. За границей ее вечно называли баронессой, графиней. Когда мы приезжали с мамой в жандармское управление, мама садилась в передней, а жандармы почтительно снимали ее боты. Даже жандармский полковник говорил – какая мама удивительная женщина, «в жандармское управление ездит со своей дочерью.*

А вот скромная самооценка «революционной деятельности» нашей героини:

Вы меня когда-то спрашивали, долго ли я сидела в Литовском замке^{}. Нет, не долго. Приехала мама из Киева, и меня сейчас же освободили. Шпионаж у нас был в царское время очень хорошо организован, дело в том, что довольно большой процент революционеров были провокаторами. Это обнаружилось после революции. Азеф был раскрыт еще раньше. Я, кроме хождения в тюрьму и ношения туда «Искры», которую я передавала на свиданиях Андропову, кроме хранения транспорта нелегальной литературы, привезенной Ногиным в 1901 году, – отношения к революционной деятельности не имела. Ну и шпионы это отлично знали. Социал-демократом я никогда не была и всегда не любила социал-демократов. И Классон мне тоже поэтому не нравился. Я считала себя анархисткой. Но это ведь была не партия, а индивидуальные теоретические взгляды.*

По-видимому, неровная учеба Софьи и ее «политическая жизнь» доставляла Алине Антоновне немало переживаний. Вот какой забавный эпизод приводила первая:

Я помню, как мама поехала со мной в Казань, показать меня [психиатру] Бехтереву. Он спросил, в чем проявляется моя ненормальность. Мама пояснила: «Она капризничает». Бехтерев сказал: «Все дети капризничают» и начал расспрашивать маму о ней самой, лекарство дал маме, а не мне. Через несколько лет мама приехала в Петербург хлопотать о моем освобождении из тюрьмы, я сидела в Литовском замке. У мамы были расстроены нервы.

Бехтерев был уже в Петербурге, стал знаменитостью, и я уговорила маму посоветоваться с ним. Сказали, что у него большой прием, и он может маму принять только после часа ночи. Мы просидели до часу ночи у знакомых, недалеко от квартиры Бехтерева, и приехали к нему. Он очень спешил. Приставил трубку к маминому корсету, раздеваться не велел, и прописал какой-то рецепт. Затем пожал маме руку, и обычно в руке же передавали деньги, не получив их, испугался, взглянул на письменный стол, куда мама деньги положила, успокоился.

Весной 1906-го Софья опять жила в Лозанне, училась в университете:

У нас была квартира из шести светлых комнат, где было не очень тесно. Двери нашего дома никогда не запирались, приходили какие-то знакомые и малознакомые люди, располагались у нас, иногда ночевали, иногда приходили обедать, ужинать. Я люблю статистику и насчитала сорок человек, живших и ночевавших у нас, некоторые жили по месяцу, по две, по три недели. Бывало, нас вызывают снизу, мы выходим на балкон, и нам кричат: «К вам идут ночевать двое!»

^{*} С 1807 г. в этом здании (между Крюковым каналом, Мойкой и Офицерской ул.) квартировал Литовский мушкетерский полк, в 1826-м оно было перестроено архитектором И.И. Шарлеманем под пересылочную тюрьму, было разрушено и сгорело в феврале 1917-го. Тюремную обстановку в Литовском замке красочно описал Всеволод Крестовский в романе «Петербургские трущобы», правда, в отношении уголовных, а не политических подсудимых.



Софья Николаевна Мотовилова, тётя.
Лозанна, 1909

Фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя»



Фото с сайта памяти Виктора Некрасова

Мы будим сестру [Веру], у нее была хорошая, большая комната, выходящая в сад, и она со своими постельными вещами перебирается в комнату моей матери и спит на полу, на ковре, а мама хлопчет, чтобы поместить в ее комнате каких-то людей. Среди этих наших званых и незваных гостей бывали милые, интересные люди, но бывали и пренеприятные, заявлявшие нам претензии, например, что у нас шумно. (главка «О Короленко» «Литературных трудов С.Н. Мотовиловой»)

Вся эта орава людей жила и питалась за счет Алины Антоновны. Поэтому выдвигать какие-либо претензии было, по меньшей мере, неприлично. Но такая уж невоспитанная была «революционная публика».

Из дальнейших воспоминаний выясняется, что какой-то «знакомый революционер» прислал к ним Дмитрия Кириллова, сына полтавского священника. Он незадолго до этого задумал отомстить статскому советнику Филонову, в 1905-м жестоко подавившему крестьянские волнения в Сорочинцах (во время которых был убит местный помощник исправника Барабаш!). Причем под влиянием открытого письма В.Г. Короленко Филонову, опубликованного в «Русских Ведомостях»!!

И этого Кириллова, застрелившего Филонова и бежавшего за границу, надо было скрыть недели на две-три от швейцарской полиции. Когда его, по конспиративным соображениям, отправляли в Париж, Алина Антоновна плакала: она уже узнала, что ее постояльца зовут Кирилловым. То есть у Мотовиловых жила не только «простая революционная публика», но и бывали отъявленные «господа террористы».

Еще о заграничных впечатлениях, в частном письме, своему московскому корреспонденту:

Я прожила год в Веймаре, затем слушала лекции в университете в Лейпциге, в разное время бывала там. Почти ежегодно по дороге из России в Швейцарию заезжала в Мюнхен весной, там как раз тогда выставки картин бывали.

Но немцы, которые оккупировали Киев [в 1941-м], совсем не были похожи на тех немцев, которых я знала в Германии. Очевидно, я там больше общалась с университетской публикой, а те, кого я видела в Киеве, были невероятно некультурны и даже безграмотны.

В другом письме С.Н. Мотовилова вспомнила понравившихся ей художников:

Из заграничных очень люблю Hodler'a и Сегантини. Обычно весной я ехала из России в Швейцарию, и как раз тогда бывала выставка картин в Мюнхене. Вы видели этих художников?

Картины швейцарца Фердинанда Ходлера (1853-1918) отличались повышенной экспрессивностью и стилизацией в духе стиля «модерн». А итальянец Джованни Сегантини (1858-1899) считается представителем неоимпрессионизма: суровые сцены крестьянской жизни, альпийские пейзажи. К сожалению, в СССР и России эти художники почти не экспонировались (персональная выставка Ф. Ходлера прошла лишь в 1987-м), зато их произведения теперь можно найти в Интернете, а также в искусствоведческих печатных изданиях. И, действительно, Фердинанд Ходлер весьма экспрессивен, а Джованни Сегантини – разнообразен.

При этом Софью Николаевну нельзя заподозрить в «низкопоклонстве перед Западом». Вот пример из 1961-го: она побывала на проходившей в Киеве выставке картин К.А. Коровина, затем – на выставке И.И. Левитана. В связи с этим написала И.Р. Классону:

Очень люблю Левитана. Из русских люблю особенно Серова, Нестерова, Левитана. Нестеров великолепен и в своих портретах, и в чудесных видах.



Фердинанд Ходлер. Весна



Джованни Сегантини. Сбор сена

Наконец, зарубежные путешествия С.Н. Мотовиловой закончились:

В 1913 году я (увы!) в последний раз приехала из-за границы. Искала себе комнату в Петербурге, зашла к [бывшей подруге тети Сони] Лидии Михайловне [Щетковской]. Она уговорила меня взять у нее комнату. Комната ее очень хорошая, со старинной мебелью, была мне слишком дорога, и Лидия Михайловна предложила мне, кроме [небольшой] платы учить французскому языку ее воспитанников.

В своих тогдашних письмах матери и сестре Зинаиде в Швейцарию и Париж этот эпизод разворачивается не на одном десятке страниц. (главка «Письма родным за 1912-14 гг.» «Литературных трудов С.Н. Мотовиловой»)

Это и борьба нашей героини за то, чтобы «встать на ноги» и получить очередное образование, теперь на курсах Министерства земледелия по синоптике (обучение на которых было смешанным, по-видимому, в рамках прежних Бестужевских женских курсов)*; и летняя практика на опытной метеорологической станции в Курской губернии (в весьма патриархальном имении помещиков Вангенгеймов); и душераздирающие скандалы с квартирной хозяйкой Лидией Михайловной Щетковской.

Это и переживания по поводу растущих вдали от нее племянников и невежливого поведения «несостоявшегося жениха» С.В. Андропова; и тягостные деловые отношения со старым знакомым Максом Соловейчиком, который то давал ей материалы на немецком из «еврейской истории» для перевода на русский, то прекращал этот неплохой побочный заработок.

В октябре-ноябре 1913-го Софья отчитывалась перед Алиной Антоновной о «культурной жизни» в Питере:

*<...> Милая Мама. Пишу тебе, вернувшись с лекции Бурлюка, помнишь, о нем Аверченко писал в рассказе о выставке? ** Он – футурист. Лекция была плоска и глупа. Я мечтала о диспутах, скандалах и очень обрадовалась, увидав одного правого карикатуриста-скандалиста. Но, увы, полиция диспута не допустила.*

<...> Я два дня подряд наслаждаюсь футуристами. В воскресенье была на Бурлюке, а в понедельник – на Чуковском [(на его лекции)] в Медицинском Институте. Чуковский очень похож на [швейцарского анархиста] Винча, на вид – бурсак без рукавчиков, в плохо сшитом сюртуке, все время ерзает на стуле или запускает руки в волосы – длинные и жирные. Но очень талантлив и умен.

Демонстрировались и футуристы, все они себя мнят гениями. Маяковский – громадный детина в оранжевой блузе без пояса, с черным галстуком и голосом, который гудит как колокол, голос чудный, и декламирует он великолепно, даже их чепуху.

Оба Бурлюка на вид приличные, т.е. одеты как нормальные люди, но всех превзошел Крученых, который пишет о свиньях, грязи и т.п. – вдруг появляется субъект, с несколько женоподобным лицом, волосами по шее, и на шее подвязана желтая шелковая подушка, как на диваны кладут, расшитая узорчатыми лоскутками. Ну, конечно, вся публика и я – хохотать. Он истерически выкрикивает, что он гений, что подушка – эмблема святости, того, что он скажет... Но затем с ним сделалась истерика, и его увели под руки. Через полчаса он уже из публики кричал, что все его не понимающие – дураки. Публика тоже бесноватая. Футуристам сочувствуют, но меня злило ужасно, что заняли всю эстраду и, как я ни кричала, не уходили. Председатель никуда не годился. Просто дикие. А там, где у нас нет полиции, нет порядка.

* Синоптика – раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, которые определяют будущее состояние погоды. Лишь в начале 1913 г. вступил в силу закон Российской империи, по которому женщины получили право на работу в метеорологии наравне с мужчинами.

** По-видимому, речь идет об «Истории одной картины (Из выставочных встреч)», опубликованной в 1911 г.

<...> Вчера я была на лекции Верхорна – безумно скучно.*

Всерьез этим самым футуризмом Софья не увлеклась, но с эмигрировавшим из Советской России Давидом Бурлюком она через полвека заведет переписку, кроме того, у нее в 1917 году (когда она работала в библиотеке в Самаре), окажутся три картины этого художника, две из которых она затем продаст племяннику Вике под «гуманитарные цели». Кстати, все сие бурление в футуристическом русле «Серебряного века» довольно подробно описывает Бенедикт Лившиц, в своих мемуарах «Полтораглазый стрелец». Он упоминает и встречу на Варшавском вокзале Эмиля Верхарна («Данте современности»), которого встретила кучка из десяти-двенадцати поклонников.

Приведем отрывки из письма Софьи Николаевны Д. Бурлюку, которое было затем напечатано в его журнале *Color and Rhyme* (Цвет и рифма) и потому сохранилось для истории (правда, уважаемый Давид Давидович ни на один вопрос своего киевского корреспондента так и не ответил):

13-V-63

Киев, ул. Горького 38 кв. 7

Многоуважаемый Давид Давидович.

Помните, когда Вы были у нас в Крыму в 1956 году, мы обменялись с Вами несколькими письмами. Вы тогда удивились, что [итальянский футурист] Маринетти был у нас в плену.

Перебираю сейчас мои старые письма 1953 года от одного юноши, которого я знала, тогда он учился в Киеве в университете на архивном факультете. Он всё приставал ко мне, чтобы я подарила (!?) мои 3 картины Бурлюка. Но и тут он опять пишет. Всё еще висят ли у меня «Бурлюки» и не хочу ли я их ему подарить? Пишет, что на основании архивных материалов он написал повесть о Маринетти, назвав ее – «Случай в Сталинграде». Была ли она напечатана или нет – не знаю. Просит меня указать ему, где он может достать портрет Маринетти или рассказать ему, какой он на вид. Я его видела, вероятно, тогда же когда и Вы, в Петербурге в 1913 году. Письмо этого моего знакомого от 1953 года, и вот что он писал тогда.

«Филиппо Томазо Маринетти инспектировал 8-ую Итальянскую армию под Сталинградом и в ноябре 42 года попал в плен Красной армии. Есть приказ [фельд]маршала Паулюса, в котором упоминается о Маринетти. Находясь в плену, Маринетти жил во время войны на Урале, в городе Асбест. Дальнейшая судьба его неизвестна».

Я думаю, что может быть Вам будет интересно. Мне Маринетти никакого интереса не представляет, и его левизна тогда в 1913 г. показалась отвратительной. Что-то было вроде восхваления войны. Итальянцев я вообще люблю, не раз жила в Италии до 1913 г., но Маринетти мне антипатичен. Кстати этот юноша, когда был в Киеве, рассказывал мне, что у какого-то украинского писателя видел вышедший в Америке журнал, как я поняла, на русском языке, где было Ваше стихотворение по поводу победы под Сталинградом. Показать его он мне никак не мог. Может быть Вы <неразборчиво, не то – прислали, не то – переписали> это стихотворение?

<...> Я еще в 1956 году Вам писала, как видела поразившую меня картину на выставке в Петербурге. Это была большая картина, на ней какие-то линии (?), или ноты. Увидев ее, я воскликнула: «Как это похоже на Бурлюка!». (Очевидно, Вас раньше где-то видела, а мне казалось, что я Вас видела впервые на лекции Чуковского в 1913 г., осенью.) Подруга моя Свешникова прочла тогда в каталоге – «Автопортрет». Выставка эта была на Невском, если идти от Адмиралтейства, на правой стороне. Картина была в первой комнате.

* Эмиль Верхарн, вариант – Верхорн (1855-1916), бельгийский поэт, фламандец, писавший по-французски. Приехал в Петербург 22 ноября 1913 г.



*Тоже «Автопортрет» Давида Бурлюка (с линиями и глазом)?
Нет – это просто «Коллаж»!*



Мария Никифоровна Бурлюк, 1928 г.

Александр Ефимович [Парнис] говорит, что по-видимому это было в 1907 г. на выставке «Венок» или в 1910-м – салон Издебского. Вы не можете этого вспомнить? Куда делась эта картина?* <...> Простите такое длинное письмо. Передайте сердечный привет от меня Марии Никифоровне, которую я знаю по Вашим портретам.

В предвоенном июле 1914-го наша героиня оказалась в Киеве, где родственники, уезжая за границу, оставили всю свою многочисленную мебель на складе (155 предметов!). Здесь она заплатила за хранение этой мебели, предварительно получив перевод от Алины Антоновны из Швейцарии:

Паспорт обменен, в складе была, значит, жду только денег, чтобы внести за мебель и поехать дальше. <...> Я хотела бы войны. Во-первых, мы должны вступить за Сербию, во-вторых, я люблю события. Здесь сейчас масса военных, и я с удивлением вижу вполне серьезные, человеческие лица.

<...> Деньги же я хотела бы получить, чтоб внести 120 руб. за мебель, а то я, право, боюсь, что они ее продадут, и потом, чтоб быть обеспеченной [деньгами] на дальнейшее. <...> Ехать теперь в Петербург, думаю, не имеет ни малейшего смысла. Как получу деньги, буду искать себе местожительство в Киеве или возле Киева. <...> Милая Мама. Деньги получила. Ура. <...>.

По-видимому, из-за войны с немцем С.Н. Мотовилова, после продолжительного отдыха в Крыму, в Киев не вернулась и опять уехала в Петербург-Петроград, опять-таки погрузившись в свою многострадальную учебу. Приведем здесь лишь концовку этого периода:

<...> Курсы кончаются через три дня. Милая Мама. <...> А я вчера приняла новое решение: хочу уехать из Петербурга. Курсы уже кончились, так что ничто меня не удерживает здесь, между тем со мной что-то совсем неладное: второй месяц не сплю.

<...> Потому ли что мало бываю на воздухе, мало хожу – не знаю, но я худею, бледнею и становлюсь нервнее. Ну, вот и решила поехать куда-нибудь в Финляндию, подышать свежим воздухом.

И наша героиня в конце декабря 1914-го оказалась в Финляндии (см. главку «Письма родным за 1912-15 гг.»).

Приведем, опять-таки, концовку этого периода:

<...> Я думаю, все же моя идея уехать в Финляндию и деревню была неглупая. Но лучше было бы вглубь Финляндии, где пансион уже не 3 рубля, а 3-4 марки и «яйца не вонючие». Даже мой путеводитель Грэнхаген** (у которого, увы, больше декламаторства и нападок на «обрусителей» или гимнов в пользу свободы печати, чем ценных указаний) подчеркивает разницу между настоящей Финляндией и Финляндией близ России. Это же «русский административный произвол» раздеморализовал вообще, по его, идеальных финляндцев! <...>

* Известно пять выставок «Венок» (первая – в Москве, остальные – в Петербурге). Первую выставку «Венок» («Стефанос») организовал М. Ларионов в конце декабря 1907 г. (с участием Д. Бурлюка). В другой выставке «Венок», открывшейся в конце марта 1908 г., Д. Бурлюк не участвовал. В конце апреля того же года Н. Кульбин организовал выставку «Современные течения в искусстве», где экспонировались и вещи группы «Венок» (в том числе Д. Бурлюк). В конце марта 1909 г. открылась выставка «Венок–Стефанос», устроенная Д. Бурлюком и А. Лентуловым. И, наконец, 19 марта 1910 г. состоялось открытие выставки, объединившей группы «Треугольник» и «Венок». – Н.И. Харджиев. К 100-летию со дня рождения Давида Бурлюка (с сайта ka2.ru/reply/khardzhiev.html).

Судьба большой картины «Автопортрет» («с какими-то линиями (?), или нотами») в Интернете не просматривается...

** К.Б. Грэнхаген. Спутник по Финляндии. СПб, 1913.

В «Литературных трудах С.Н. Мотовиловой» имеется главка «Как я стала библиотекарем». Вот узловые эпизоды этой весьма важной для нее в будущем деятельности:

*Зиму 1914-1915 года я проводила в Финляндии в Уси-Кирке. <...> Прочтя в Уси-Кирке о библиотечных курсах в Москве, узнав, что занятия на них продлятся всего четыре-шесть недель – точно теперь не помню – я решила поехать на курсы. <...> Весной 1915 года я приехала в Москву. Это был второй год войны. <...> Раздевшись и разложив свои вещи, я помчалась в университет Шанявского. Раньше я страшно радовалась его открытию: университет, в котором сможет учиться всякий желающий, без дипломов, без всяких бумаг!**

<...> Слушатели съехались. Лекции начались. И у слушателей, и у преподавателей был какой-то особый душевный подъем. То ли все приехавшие из провинции люди радовались, что попали в Москву, то ли они были горды выполняемой ими миссией – нести знания в широкие народные массы. Курсы были прекрасно организованы. Нам выдавались различные печатные материалы, помогавшие в наших занятиях.

Лекции происходили точно в назначенные часы, руководители практических занятий были особенно внимательны. Вообще чувствовалась какая-то не официальность, а налаженность и деловитость. Несомненно, этот характер в курсы вносила организатор их – Любовь Борисовна Хавкина. <...> Ей было тогда около сорока лет. <...> Она была организатором этих курсов и к своему делу относилась с энтузиазмом. Этот энтузиазм невольно передавался всем окружающим.

<...> Через год по окончании курсов я стала работать в Самаре. Заведовала там библиотекой. По дороге туда я заехала в Москву к Хавкиной, она снабдила меня ящичками, карточками, формулярами десяти цветов. В это лето по дороге в Саратов Л.Б. заезжала ко мне в Самару, видела мою маленькую библиотеку.

Весной 1917 года она вызвала меня в Москву и помогла мне поступить инструктором по библиотечному делу Московского земства, потом я недолго проработала вместе с ней в Совете рабочих депутатов [Московской губернии], откуда, по просьбе Крупской, перешла в Комиссариат просвещения. В 1918 году я уехала в Киев и с тех пор работала в Киеве. С Хавкиной все эти годы мы были связаны.

Отметим, что статья Л. Хавкиной «Курсы по библиотечному делу» появилась двумя годами ранее – 30 января 1913 года в «Русских ведомостях».

В ней сообщалось:

Курсы по библиотечному делу предполагается открыть с 4-го дня Пасхи, т.е. 17-го апреля. Они продлятся три недели при четырех часах лекций и практических занятий ежедневно. Многие лекции будут иллюстрироваться проекциями волшебного фонаря. Кроме того намечены групповые осмотры нескольких московских библиотек.

<...> Курсы рассчитаны на лиц, работающих в общеобразовательных библиотеках (общественных, народных, школьных, детских и др.) или принимающих участие в коллективном управлении библиотеками, на педагогов и родителей, и вообще на людей, интересующихся книгами и библиотеками. На курсы будут приниматься лица обоего пола. Дипломов от них не требуется, но для усвоения программы необходима достаточная общеобразовательная подготовка.

Согласно желанию жертвователя [(московского богача Николая Александровича Шахова)], плата назначена общедоступная – три рубля за полный курс. <...> Общество взаимной помощи при московском учительском институте любезно согласилось предоставить приезжим слушателям курсов дешевые помещения (20 коп., 50 коп. и 1 руб. в сутки) в учительском доме.

* Университет Шанявского не выдавал дипломов, но его «простые удостоверения» высоко ценились в России.

Добавим здесь некоторые прозаические подробности, в том числе о борьбе нашей героини и ее сестры Зинаиды в то время за «место под солнцем», обнаруживающиеся в ее письмах старому знакомому Виктору Павловичу Ногину (ф. 145 Российского государственного архива социально-политической истории):

<...> Относительно библиотеки, если Вам не трудно, узнайте, действительно ли там нужен заведующий. Обо мне, ежели нужен отзыв, сможете сказать следующее.

Мне 34 года от роду, кончила я Петербургские Высшие Женские Курсы по физико-математическому отделению, знаю 4 иностранных языка. До поступления на В.Ж.К. в Петрограде я 2 года слушала лекции на коллективных курсах в Москве, на историко-филологическом отделении (по истории, истории литературы, политической экономии и философии) и затем еще 2 семестра слушала лекции в Лейпцигском университете – Вундта (философия и история народов), Лампрехта и пр. Это в смысле общего образования. В смысле же специально библиотечного, прослушала курс и работала на практических занятиях университета Шанявского, о чем имею свидетельство.

Все это мои плюсы, но и минусы значительные – а именно, я в библиотеке еще не работала, но ежели бы им было желательно, они могли прикомандировать меня к какой-нибудь хорошо поставленной библиотеке в России (например, Харьковской) или же я могла бы проехать в Швецию летом месяца на два, там библиотечное дело поставлено прекрасно, они своих библиотекарей посылают учиться в Америку. (из Москвы в Саратов, май 1915-го)

<...> Сегодня я очень взволнована и даже утренние лекции пропустила. Вчера пришел В.И., он говорил с корректором одной большой газеты, и тот рассказывал, что редакторов призывали [к начальству] и просили их приготовить публику к дальнейшим событиям. Не знаю, насколько это верно, но будто решено и В[аршаву], и К[иев] отдать [немцу]! Он советовал мне выписать мои вещи, тетради и дневники, которые с другими вещами [хранятся] в складе в К[иеве]. Но дело в том, что у нас там вся наша мебель и все вещи, всего рублей тысячи на 4, т.е. в 4 000 они застрахованы. Не знаю, выдают ли оттуда вещи, удастся ли найти вагон [для их перевозки в Москву] и как мама к этому отнесется. Я выписала свои деньги из Петрограда, и как [только] их получу, выеду в К., в надежде, что удастся вещи спасти. Если это правда, понимаете ли Вы, какой это ужас? Не в спасении наших вещей, но самый факт! Я подавлена. (из Москвы в Саратов, июнь 1915-го)

<...> Относительно той работы в Москве, о которой я Вам писала, вероятно, ничего не выйдет, ибо по случаю войны там смету сократили на 270 тыс. рублей, т.е. больше чем наполовину, и они сократили число вольнонаемных служащих. <...> Думаю пробить здесь, т.е. [по адресу] Киев, Костельная, 12, кв. 12, до 10-го августа, а там комната моим хозяевам нужна, и я куда-нибудь перекочую. О причине моей поездки в Киев писала Вам из Москвы. К счастью, страхи оказались преувеличенными, и здесь все обстоит благополучно. Но вообще наши военные дела меня очень удручают. Автономия, данная Польше, когда она уже вся в руках немцев, наводит на грустные мысли. Кстати, кажется Варшавский университет, в котором разрешено теперь преподавание на польском языке, перекочет к Вам в Саратов? (из Киева в Саратов июль 1915-го)

Дорогой Виктор Павлович. Ваше письмо ко мне, очевидно, потерялось. С моими письмами и газетами вообще творится что-то неладное, «Русские Ведомости» из Москвы я получаю на десятый день! Они тут запрещены в продаже, и, должно быть, ими интересуются на почте. От мамы тоже последнее письмо было от 10-го июня (!), с тех пор я получила лишь две телеграммы, из коих знаю, что они переехали [из Парижа] в Швейцарию и больше ничего! Приятно?

<...> Здесь я живу месяц, совершенно случайно ко мне зашла раз знакомая моей сестры и другой раз – знакомый одного моего знакомого, и оба раза мне после их ухода было тяжело. Свои отношения со всеми своими знакомыми я прекратила или они сами прекратили, как с Сергеем Васильевичем. И я хоть страшно обижена, что он забыл меня так легко и просто после 14½ лет таких близких отношений, кои были у нас с ним, но все же понимаю, что так лучше. А чтоб заводить новые знакомства, я, вероятно, уже слишком стара. (из Киева в Саратов, август 1915-го)

<...> У нас жизнь идет все так же. Мама на несколько дней уехала в деревню. Дома внешних впечатлений никаких, вся жизнь околачивается вокруг дома, хозяйства, детей. А это очень невесело. Зина все еще не устроилась с местом и дома практики все не начинает, хоть кабинет весь оборудованный стоит пустой. Но Зина все не вывешивает своей дощечки.

<...> В Киеве жизнь кипит, театры и кинематографы полны, мне с трудом удалось достать билет в театр на «осенние скрипки», и попала лишь на 18-й раз. На улицах толпы нарядных людей, дороговизна ужасная, точно люди не знают больше удержа и гробят [свою жизнь] вовсю. С отвращением видишь, что война очень многих обогащает, а слой людей скоро наживающихся уже совсем не в моем духе. После августовской паники большинство русских семей выехало, и население [теперь] почти исключительно польское и еврейское. В нашем доме [на Кузнечной ул.] 24 квартиры, и одни мы русские, хоть нас называют здесь «французами». (из Киева в Саратов, ноябрь 1915-го)*

<...> Кстати, Вы ошибаетесь, когда думаете, что я любила Сергея Васильевича [Андропова]. Просто он казался мне исключительно хорошим человеком, я видела, что жизнь его складывается трагически, я думала, что могу в его жизнь внести радость и свет, и вероятно немного я это и могла. Но я никогда не делала себе иллюзий ни насчет своих отношений к нему, ни его – ко мне.

И это не теперь я только говорю, я это говорила все 15 лет, у меня сохранились ведь все наши письма, и в них я неизменно, с иронией и презрением, говорила о том, что С.В. называл своей «бесконечной любовью» ко мне, и всегда уверяла его, что всякая другая девушка больше бы удовлетворила его, чем я.

<...> Рада за Вас, что нашли интересных знакомых в Серпухове. У нас тут, к сожалению, знакомых почти нет, кроме двух-трех довольно скучных дам. Зина все еще не устроилась с местом, и ее частная практика ничтожна.

Вообще жизнь все не ладится, и я жалею, что не перевезла все наши вещи в Москву, в июле [1915-го], как думала это сделать. Там и Зине с местом было бы легче устроиться (через знакомых), и мне было бы интереснее, я уже сокрушаюсь, что не увижу в этом году картинных выставок, передвижников, Мира Искусств и т.д.

Думала летом уехать в Норвегию, но боюсь, что Швеция объявит войну. Газеты читаю последнее время без интереса, как-то ничего из них не видно. На [рождественские-новогодние] праздники у нас все, кроме меня и Зины переболели инфлюэнцией. (из Киева в Серпухов, январь 1916-го)

В повесть «Минувшее», опубликованную в 1963-м «Новым миром» в сильно урезанном виде (драматическая история попыток нашей героини напечататься занимает не один десяток лет и приводится в «Литературных трудах С.Н. Мотовиловой»), не попал такой важный отрезок «линии жизни» нашей героини как ее «литературное творчество», детское начало которого мы уже упоминали.

* В октябре того же года семейство Некрасовых приехало из Швейцарии, а Софья из Москвы, – в Киев.

А вот его продолжение:

<...> В 1917 году я из Самары переехала в Москву и стала работать библиотечным инструктором в Московском губернском земстве. Тут был какой-то свой орган. Я давала туда свои статьи. Редактор их охотно печатал, платить он мне не платил ничего, но однажды подарил мне три кусочка сахара. Сахар тогда было трудно доставать. После одной из моих поездок в один из уездов Московской губернии, я написала об этом очерк. Это были первые годы революции. Люди в провинции были растеряны, культурная работа шла плохо. Крестьяне, то есть наиболее сознательные из них, хотели разобраться в происходящем вокруг, звали приезжать к ним, объяснять текущие события. А интеллигенция, как известно, тогда саботировала. Помнится, моя статья заканчивалась призывом к интеллигенции ехать вглубь страны, в деревню.

Свою статью я отдала сперва в газету, редактором которой был мой зять, муж моей сестры. Он ее не принял, но рукопись возвратил. Я отнесла ее тогда в другую газету, называлась она, кажется, «Власть народа». Редактором ее была Кускова.

<...> Прошло недели две-три, а то и больше. Сажу я в нашем земстве, приходит один из наших инструкторов и спрашивает: «Софья Николаевна, это ваша статья о поездке в Звенигород помещена во «Власти народа»?» – «Я давала, но они не поместили». Купила газету – моя, моя статья! А вот подпись они как-то выдумали: «Интеллигентка»*. Отправилась опять в редакцию. Секретарь <...> просит подождать. Меня непременно хочет видеть... Он назвал имя и отчество [– Екатерина Дмитриевна]. Я спросила: «Кто это?» – «Кускова».

О Кусковой я не раз слышала от [С.В.] Андропова. Он, конечно, не разделял ее взгляды, но находил, что она очень умна, гораздо умнее Прокоповича, и что у нее «мужской ум». Со стороны мужчин это всегда похвала. Мне очень жаль, что мои дневники того времени погибли. Там, вероятно, дословно [была] записана моя беседа с Кусковой. Теперь только помню, что она несколько раз повторила, что вытащила мою рукопись из корзины для бумаг, что у меня, несомненно, литературный талант. Повторяла еще: «Пишите! Пишите!»

Даже сравнила мою манеру писать с Глебом Успенским. Я подумала: это слегка преувеличено. Это был счастливейший день в моей памяти. Казалось: наконец-то открывается для меня литературное поприще! За статью я получила 50 руб. Мне казалось – это колоссально. Мое жалованье инструктора было 250 руб. в месяц, а ведь написание статьи отняло у меня какой-нибудь час-два. <...> На этом моя «литературная деятельность» кончилась. Писать-то я писала много. Много статей было написано по библиотечному делу, посылала их в разные библиотечные журналы, ни одна не была помещена. Статьи мне не возвращали, ответов я не получала.

<...> Тем временем я состарилась и переключилась на воспоминания, «мемуары». Написала свои воспоминания о Брюсове и, с легкой руки Нейкирх послала их Чуковскому. Чуковский очень хорошо откликнулся и пытался их куда-нибудь поместить, но, увы, так же безрезультатно.

* Поиски сей статьи в Москве не увенчались успехом: ни в научной библиотеке ГАРФ, ни в РГБ. Особенно убого выглядит «подшивка» ежедневной газеты «Власть народа» в РГБ – в отделе газет (Химки) около двух десятков экземпляров середины 1917-го и ни одного за 1918-й, а в отделе русского зарубежья (Москва) – тоже около двух десятков экземпляров на конец 1917-го и один – за 1918-й (при этом сотрудница отдела объяснила, что более полная подшивка, обозначенная в каталоге, уже не выдается «за ветхостью»!). Ну, так сделайте микрофильм и выдавайте последний (нет, не делают)!!!

Поясним здесь, что вышеупомянутая Е.Д. Кускова с апреля 1917-го издавала в Москве ежедневную газету «Власть народа». Большевики отождествлялись в ней со смутьянами. Газету закрыли в мае 1918 г., а Е.Д. Кускову, после ареста и внутренней ссылки в 1921-м, в 1922 году выслали уже за границу. А Сергей Николаевич Прокопович – это ее муж, в 1906-м издавал вместе с женой журнал «Без заглавия», в 1921 году был арестован как член Помгола вместе с женой. Александра Генриховна Нейкирх – киевская знакомая С.Н. Мотовиловой, поэт и переводчик, она умерла от истощения в 1935-м.

Большевистский переворот дорого обошелся Мотовиловым. Софья Николаевна почти в каждом письме к И.Р. Класону вспоминала годы гражданской войны, голода и разрухи, установления «новых порядков», «вредительства» и т.п. А вот как она описывала приход большевиков в прежнее царское учреждение в Москве:

После революции, я работала тогда в губернском земстве, мы выжидали, когда большевики «наше земство захватят». Никто ничего не делал, наше начальство, социалист-революционер, все больше разговаривал о себе, как он устает, приходилось дежурить в парадных по ночам. Я со злобой слушала его. Начальство может о себе рассказывать, а мы, подчиненные, должны почтительно слушать и сочувствовать. Меня это бездействие злило.

Я пошла к Ногину на службу и спросила (он был тогда комиссаром труда): «Скоро ли Вы нас захватите? Надоело ничего не делать, сидеть и ждать, когда придут большевики и захватят нас». Он ответил: «Это не по моей части. Пойду, спрошу Мещерякова». Вернулся и сказал: «Нет, сейчас мы земство взять не можем. Подождите немного». Но и при большевиках лучше не стало. Из всего состава отдела внешкольного образования при большевиках осталась я одна, и служила канцеляристикой. Хавкина мне говорила: «Что вы делаете, что делаете?! Я сейчас же вас устрою в кооперацию. Ведь ни один порядочный человек вам руки не подаст [за то], что вы работаете с большевиками».*

В другом письме С.Н. Мотовилова приводила сочные подробности «прихода большевиков»:

<...> Но, наконец, наступил день. К нам прислали курьершу сказать, чтоб мы немедленно шли в главное здание земства: «Большевики нас забирают». Пришли все служащие, многие годы работавшие тут. И вышел какой-то блондинистый мальчишка-латыш, и как барин на своих служащих начал на нас угрожающе кричать: «До сих пор вы работали на буржуазию, а теперь будете так же работать на нас!». Россия, наш народ – моя это страна или этого наглого мальчишки?! Я задышалась от бешенства.

Большая часть земских служащих тогда ушла, в нашем отделе из инструкторов осталась я одна. Пришли новые люди. Это были морально низкие люди, тоже бездельники, все заседавшие и получавшие деньги за ничегонеделание, наглые карьеристы, вышедшие потом в наркомы, посланники и т.п. Кому и чему они служили? Своему карману и больше ничему.

А вот продолжение истории с Л.Б. Хавкиной, которая сначала не хотела сотрудничать с большевиками, и неровных отношений с теми же большевиками:

Прошло два месяца. Большевики упрочились. Я пришла приглашать ту же Хавкину консультантом по библиотечному делу в Московский совет рабочих депутатов. Оплата была хорошая, и она сейчас же стала работать там со мной.

* Николай Леонидович Мещеряков (1865-1942), народоволец, большевик-ленинец. После февральской революции 1917 г. находился на государственных должностях в Москве, в частности в 1920-е возглавлял Госиздат.

Но потом меня стала усиленно звать Надежда Константиновна [Крупская] перейти в Народный комиссариат просвещения. Я долго отказывалась. Наконец подала заявление в библиотечный отдел. Я считала, что надо идти с открытым забралом. Мне это кажется детски наивным теперь.

К своему прошению я приложила свои статьи о библиотечном деле и написала: «Я не большевичка, никогда ею не была и никогда не буду». Девушка, заведующая тогда, испуганно отдала мне заявление мое и сказала, что мест у них нет.

В «Минувшем» история с переходом нашей героини в Наркомпрос была описана так:

В 1918 году я работала в Совете рабочих депутатов в Москве. В Комиссариате просвещения во главе внешкольного образования тогда стояла Надежда Константиновна. Мне необходимо было обратиться к ней по делу. Наркомпрос помещался тогда в бывшем Николаевском лицее. Принимала Н.К. в бывшей приемной директора. <...> Ей сказали, что я инструктор губернского Совета Рабочих депутатов, хочу с ней говорить. Очень кратко я изложила свою тревогу о судьбе частных библиотек. Я узнала, что многие библиотеки расхищаются, и сказала, что их надо сохранить.

Н.К. сразу поняла, что это очень серьезный вопрос, и сказала: «Надо написать специальный декрет об охране библиотек. Переговорите со знающими библиотекарями, соберитесь здесь и обсудим, что делать». Я была очень тронута.

<...> Я получила повестку, в которой приглашалась на заседание в Наркомпрос. Должен был обсуждаться вопрос о «реквизиции помещичьих библиотек». Я была против реквизиции частных библиотек. Надо было принять меры к охране их, а не реквизировать. Однако я пошла на заседание. Меня встретила Н.К.: «Ну что, подали вы заявление? Переходите к нам?» Я ответила смущенно: «Нет. Я об этом много думала и, получив повестку, почувствовала, что это невозможно». Н.К. сказала, улыбаясь: «Такие мы плохие, что с нами работать нельзя?» И потом серьезно прибавила: «Подумайте еще. Вот мой план. Прочтите его, если вы с ним согласны – переходите на работу к нам».

Она дала мне несколько исписанных листов. Я прочла их внимательно. Все было для меня приемлемо: в частности, в них говорилось об охране помещичьих библиотек. <...> Через некоторое время я поступила в отдел научных библиотек. Библиотечный отдел разделился тогда: часть библиотек была в ведении внешкольного отдела, которым заведовала Н.К., часть – в отделе академических библиотек, которым заведовал Брюсов. В этом отделе я и работала – ездила по стране для описи помещичьих библиотек.

К сожалению, редакторы «Нового мира» вырезали из «Минувшего» забавный сюжет с заведованием поэта-декадента В.Я. Брюсова библиотеками, вот как это выглядело в оригинале:

Лето 1918 года, сидим в Центральном Комиссариате Просвещения, бывшем Николаевском лицее (теперь это Институт Красной Профессуры).

Совсем маленькое совещание, обсуждают создание библиотечного отделения при Центральном Комиссариате. Осталось нас трое: какой-то приезжий из Петрограда, Крупская и я. <...> Приезжий из Петрограда меня злит, с необычайной развязностью, с умом, не омраченным знанием предмета, говорит он о библиотечном деле. Кажется, это какой-то журналист, знает об устройстве библиотек в Швеции, и это все. Я злюсь и поглядываю на Крупскую. Наконец, этот приезжий говорит: «Во главе библиотечного дела будет Брюсов».

<...> Я пытаюсь возразить: «Ведь Брюсов никакого отношения не имеет к библиотечному делу. Отчего Вы думаете, что он сможет его поставить?» Приезжий меряет меня презрительным взглядом: «Брюсов высококультурный человек, он всегда интересовался библиографией».

Я, откровенно говоря, не понимаю, причем тут библиография, когда нужны блестящие организаторские способности, сила воли, когда нужно из хаоса, из волн революции, на которых плавают наши библиотеки, их спасти, создать единую библиотечную сеть, поставить все дело по-новому. <...> Через три дня после этого заседания я была зачислена эмиссаром в Библиотечный Отдел Центрального Комиссариата, Брюсов – заведующим, есть еще секретарь. <...> Первое время неналаженности Комиссариата Брюсов непрерывно нервничает. Работа эта для него «не синекура», а мучительная обязанность.

<...> Мало-помалу наш отдел стал наполняться новыми служащими. Все это были поэты и поэтессы, обычно никакого отношения не имевшие к библиотечному делу. Самым симпатичным из них был еще молодой тогда Пастернак, бывший у нас секретарем. Хваленой деловитости, практичности и организационных способностей Брюсова я не заметила. Он приходил в отдел ненадолго, вздыхая, жалуясь на подагру и раздражаясь на всякие мелочи. (главка «О В.Я. Брюсове»)

А вот еще более откровенный сюжет из той же «библиотечной деятельности» поэта-декадента в частном письме:

Брюсов, как только возглавил библиотечный отдел государственных библиотек, вывесил всюду объявления, что все места заняты и мест больше нет, ну а сам приглашал всех своих знакомых поэтов и поэтесс, ничего не смыслящих в библиотечном деле. Сижу я как-то в отделе одна, приходит девица, хочет к нам поступить. Я говорю: «Но вы же видели надпись. Все места заняты, мест больше нет». Она отвечает: «Но у меня письмо от Троцкого». Я удивилась. Какое это имеет значение, раз все службы заняты? Она ушла. Приходит Брюсов. Спрашивает: «Приходил ли кто-нибудь?». Отвечаю: «Приходила девица насчет службы. Я ей сказала, что мест нет». – «Хорошо сделали». Я говорю: «У нее было письмо от Троцкого». Боже, что с Брюсовым сделалось, как он негодовал на меня! Троцкий был тогда у власти.

Поэт Валерий Брюсов вполне оправданно побаивался высоких большевистских начальников, хотя и был ими обласкан.*

* В 1923 г. «вся передовая сов. общественность» отмечала юбилей «великого поэта», и вот как на сие «эпохальное событие» откликнулся эмигрантский «Руль» (Берлин) 18 декабря:

Живая действительность

В Москве организован юбилейный комитет по чествованию 50-летия Валерия Яковлевича Брюсова. В московской «Правде» опубликовано сообщение юбилейного комитета, в котором между прочим отмечается: «В виду исключительного значения В.Я. Брюсова в русской литературе, науке и общественности общество не может пройти мимо этого факта, не отметив его своим сочувствием и вниманием».

Далее указывается день чествования – 17 декабря 1923 г. и ниже следует список членов юбилейного комитета. Судя по именам надо полагать, что комитет этот составлен из содружеского объединения (смычки) представителей власти (Луначарский, [ректор МГУ] П.С. Коган, [секретарь ВЦИК] А.С. Енукидзе и др.), литературы и литературных организаций (Андрей Белый, С. Есенин, М.О. Гершензон, А.М. Эфрос и др.).

Вполне разделяя мысль о необходимости отметить сочувствием и вниманием действительно выдающуюся литературно-художественную деятельность В.Я. Брюсова, мы все же не без некоторого смущения встречаем в этом списке имена лиц, в устах которых выражение сочувствия и внимания к общественной деятельности юбиляра звучали, по меньшей мере, ... странно. В нашей памяти сохранились факты, свидетельствующие о несколько ином отношении этих лиц к общественной деятельности В.Я. Брюсова, особенно в период его наиболее интенсивного проявления, т.е. с наступлением советской власти, когда чествуемый поэт неожиданно для многих оказался ответственным работником Наркомпроса и коммунистом. В качестве представителей Всероссийского союза писателей (В.С.П.) лица эти неоднократно входили в сферу общественной деятельности В.Я. Брюсова и доклады их правлению В.С.П., о соприкосновении с этим «деятелем», свидетельствовали о мыслях и чувствах, далеких от сочувствия, побудившего их ныне стать чествователями общественной деятельности юбиляра.

В «Минувшем», в главке «Надежда Константиновна», рассказывалось о поездке эмиссара Наркомпроса С.Н. Мотовиловой в бывшее имение князя Волконского, для описи его библиотеки. В этом рассказе редакторы «Нового мира» оставили только констатацию того, что «дом грабили». А кто же его грабил? Понятное дело, местные жители, которые уносили похищенное на своем горбу.

Но не только, вот как это было в оригинале:

По дороге к вокзалу можно было видеть людей, гнувшихся под тяжестью узлов с награбленным добром князя Волконского. Но самое тяжелое впечатление произвел на меня комиссар. В воскресный день я его встретила восседающим на возу, нагруженном всяким узлами, сундуками, мебелью. Увидав меня, он стал усиленно гнать и бить кнутом несчастную лошаденку, которая не могла сдвинуть с места этот переполненный воз.

Несмотря на хрущевскую «оттепель» это прозвучало бы тяжким обвинением в адрес большевиков, даже через сорок пять лет после того, как это произошло и что можно было бы списать на «случайный сброд», примазавшийся к партии власти.

Однако хапали, как мы увидим далее, подавляющее большинство коммунистов – и рядовые, и «ответственные работники». Вроде бы в соответствии с провозглашенным В.И. Ульяновым-Лениным лозунгом «Грабь награбленное». Хотя этот лозунг надо было трактовать только в отношении «бывших», однако многие вороватые большевики и комсомольцы урывали и у родной Советской власти!

Окончание примечания

Чтобы не быть голословными, напомним хотя бы два факта из упомянутых докладов, ярко запечатлевшиеся в нашей памяти.

Факт первый: В.С.П., по ходатайству его правления, была передана библиотека, реквизируемая у закрытого [властями] Московского литературно-художественного кружка [(Литературно-художественный кружок собирался с 1905 г. в особняке на Большой Дмитровке. Это был блистательный клуб с рестораном, библиотекой, концертным залом, картинной галереей портретов)]. Так как в это время у В.С.П. не было еще своего помещения, библиотека эта основалась в помещении бывш. литературно-художественного кружка. В.Я. Брюсов, бывший тогда, если не ошибаемся, зав. Лито (Литературным отделом Наркомпроса), опротестовал эту передачу, мотивируя свой протест тем, что в буржуазном В.С.П. библиотека эта окажется недоступной для пролетариата. Он, конечно, добился отмены передачи, и в один прекрасный день перевезли на грузовиках всю библиотеку в Лито. Нам доподлинно известно, что до конца 1922 г. библиотекой этой пролетариат не мог пользоваться, т.к. она лежала неразобранной. А когда в конце 1922 г. приступили к разборке, то, как и полагается в пролетарском деле, оказалась половина драгоценных книг разворована. В каком положении сейчас эта [библиотека], спасенная от буржуазных рук В.С.П. В.Я. Брюсовым, мы не знаем, но полагаем, об этом поведают его слова на юбилейном торжестве.

Факт другой. В проклятые годы советской продовольственной опеки населения московские писатели, околевавшие с голоду по 3-й категории [получения пайков], в лице своего В.С.П. возбудили ходатайство о переводе их в 1-ю категорию (паразитическим элементом, к которым причислялись тогда писатели, мерещилось, что по 1-й категории все же как-то легче голодать). Ходатайство это, как водится, таскалось по ведомствам и учреждениям, комиссиям и подкомиссиям и, между прочим, оказалось в одной комиссии, составленной из представителей Наркомпроса – самого наркома А.В. Луначарского, В.Я. Брюсова и представителя Моссовета, пресловутого «кормильца» Москвы, тов. Халатова... Ходатайство В.С.П. заключалось в том, чтобы выдали 1-ю категорию всем членам В.С.П. по списку, без изъятия. Луначарский и даже Халатов не протестовали и готовы были согласиться на это, но запротестовал В.Я. Брюсов. Он указал, что в списке имеются имена, явно враждебные пролетариату, вроде например [П.П.] Перцова, сотрудничавшего в царское время в «Новом Времени», и др., и предложил 1-ю категорию предоставить только тем из членов В.С.П., лояльность которых по отношению к пролетариату и советской власти будет подтверждена компетентным учреждением (Лито?). Ходатайство писателей в этой комиссии провалилось и пошло гулять дальше по разным комиссиям, главкам, пока председатель Моссовета Л. Каменев не начертал на ходатайстве властной рукой: «Выдать [всем] 1-ю категорию. Л. Каменев». <...>

М.

Затем С.Н. Мотовилова отправилась в командировку описывать большую библиотеку Владимира Ивановича Танеева. В.И. Танеев окончил Училище правоведения в Петербурге в 1861 г., с 1866 г. выступал защитником в ряде политических процессов, а в 1919 г. ему была выдана охранная грамота за подписью В. И. Ульянова-Ленина.

Вот как она об этом вспоминала:

<...> Приехав в Клин, я прошла в местный Совет. <...> Поместили меня в дом Победоносцева, какого – не знаю: того самого знаменитого, его сына или его родственника? Тут же жили и уездные комиссары к счастью, они приходили только вечером. Спала я в бывшей гостиной с мебелью, обитой синим шелком. Была еще столовая, со столовой, но тоже мягкой, мебелью. Где спали комиссары – не знаю. Вечером они разгуливали по столовой в одних жилетах, грызли конфеты. Тогда был немного голод, конфеты являлись редкостью, и их поедание было признаком привилегированных.

<...> Моему приезду Танеев сперва, как будто бы, обрадовался. Надел тулупчик, встал и повел показывать свою библиотеку в большом доме. Потом настоял, чтобы я осталась у него пить чай. У него не было в доме ни кусочка сахара, ни кусочка хлеба. Этот человек, устраивавший когда-то банкеты на десятки лиц с шампанским и прочим, угощал меня чаем без сахара с огурцами.

<...> На следующий день, когда я пришла, Танеев опять лежал в постели и был мрачен. “Так-с, сударыня, – сказал он мне, показывая на лежащий около него мандат, который я у него забыла, – «Бывшая библиотека Танеева», и подпись: Брюсов!” Оказалось, Танеев, шестидесятник по убеждениям, ненавидел новую литературу, особенно символистов и особенно Брюсова. Уезжая, я не проверила мандат, и, конечно, он был глупо составлен, вероятно, нашим делопроизводителем. Луначарский считал библиотеку принадлежащей Танееву, предложил ее купить и назначить Танеева директором. Но это уже было после моего отъезда из Москвы. <...> (главка «О В.И. Танееве»)

Осенью 1918-го наша героиня неожиданно уволилась из престижного Наркомпроса и отправилась в Киев, к родственникам. Мы нашли сему пассажиру такое мимолетное, но принципиальное объяснение:

Когда в 1918 году я увидела, что мама и Зина плохо ориентируются при советской власти, я бросила свою службу в Москве, все свои вещи там и переехала в Киев, отдавая почти всю себя заботе о семье (из письма в Лозанну).

В письме же В.Д. Бонч-Бруевичу в апреле 1934-го, где рассказывалось о жутком уплотнении киевлян в связи с переездом украинского правительства из Харькова, попутно обнаружилась и другая причина перемещения С.Н. Мотовиловой в Киев – отсутствие московской жилплощади:

<...> Учреждение, в котором я работала, уезжает в Харьков, я уже без службы. Т.е. подала [заявление] в другое место, авось зачислят. Берешь что попало, ибо ведь «безработных у нас нет», и, значит, стоит остаться без службы и ты уже буржуй! Но это все ничего, а вот [жил]площадь... Из-за [жил]площади я отказалась от работы гораздо для меня более интересной в Москве, а теперь и тут... (здесь и ниже подобные письма – из ф. 369 отдела рукописей РГБ, см. также главку “О жизни в “стране большевиков”» «Литературных трудов С.Н. Мотовиловой»)

Занимавшая важные посты в Москве Н.К. Крупская так ни разу и не помогла своей прежней подчиненной, оказавшейся в Киеве (о чем «Минувшее», в публикации «Нового мира», умолчало, но мы обязательно восстановим эти идеологические купюры).

Начнем теперь разворачивать клубок киевских впечатлений нашей героини в ее частных письмах:

Во время революции я мало читала, все время уходило на заработок, у меня ведь бывало не меньше двух-трех служб зараз. Вечно стояла на толкучке, пытаюсь продать наши вещи, вечно стояла в ломбарде, чтоб заложить вещи! А стояние за пайками! Одно время хлеб приходилось получать по карточкам в трех булочных: для Зины, [племянника] Вики и меня. Вика пошевелиться не хотел, чтоб что-нибудь получить. Лежит на диване, читает какой-то роман и достойно говорит: «Прошу при мне о пайках не разговаривать!» А ведь надо было скомбинировать, что взять, что продать из пайков.

А вот другие эпизоды выживания «бывших» при большевиках:

Я прожила жизнь, никогда своих именин не праздную. Зинины же именины всегда праздновались у нас торжественно, и бывало не менее двадцати гостей. Мама пекла и жарила, и помню один год, когда у нас [в квартире] развалилась печка, и не было дров. Мы меняли тогда наш хлеб на дрова. Мама поехала на дачу к знакомым печь пироги. Мы были обе «железнодорожницы», имели «провозные» документы, и билет ничего не стоил. Беда была в том, что ходили только теплушки, и в них было очень трудно влезть. Кроме того, так как мы были «новые железнодороджницы советской формации», старые железнодороджники (своего рода каста) нас в свою теплушку не пускали. Но тут повезло. Обер-кондуктор был знаком с нашей знакомой (владелицей дачи) и посадил маму с пирогами в теплушку. <...> Вместо дров мама собрала хворост в лесу и на нем пекла пироги. Мы ее благополучно встретили.

Зато два других раза (мама ездила туда белье стирать) маму при выходе на киевском вокзале обворовали. Первый раз (носильщиков тогда не было) мама дала свои вещи «вридло». Что означало «временно исполняющий дела лошади». Увы! Наложив весь мамин багаж на тачку, «вридло» стремительно помчался и исчез за какой-то колючей проволокой. Исчезло 12 простынь, мой перешитый костюм и пр. и пр. Горе было большое. Нужда. Но мамина энергия не убывала, она опять взяла белье, 8 простынь, и поехала на дачу стирать. Условились, что мы встретим маму у поезда, и она без нас не выйдет. Но мама со своей укладкой вышла на площадку вагона. Приличная дама в бархатной шубке предложила маме помочь, и в то время как мы с Зиной мчались к маминному вагону, дама с маминой укладкой исчезла.

А что за ужас были тогда беспризорные! Зина, которая никогда ничего не покупала и не носила покупки, удивлялась, что нас с мамой обкрадывают. И вот как-то после своих именин она понесла угощение одной больной старухе. Еще не отошла она далеко от дома, как видит – ее пакет летит в воздух, и беспризорные тут же его подхватывают и едят на ее глазах. Да, все это мы пережили. И главное – бедная мама на старости лет.

Мотовиловы – «бывшие помещики» при большевиках, конечно же, обнищали:

Когда мама [после приезда в Россию в 1915 году] хотела послать часть денег Вере в Швейцарию [в качестве ее доли наследства], та написала – пусть раньше кончится война. Был низкий курс. Ну а потом случилась революция, и все погибло. Жили мы с 1918 года главным образом продажей маминых вещей и получкой денег и посылок из-за границы. Мой и Зинин заработки были ничтожны, а Вика вообще до двадцати восьми лет ничего не зарабатывал. Я, кажется, Вам писала. Мама мне говорила: «Что ты хочешь? Твой отец никогда не зарабатывал и твой дед тоже. Зачем же Вике зарабатывать?» Но ведь отец и дед были люди состоятельные, а мы страшно нуждались. Вся тяжесть жизни падала на маму.*

* В Первую мировую войну российский рубль обесценился по отношению к швейцарскому франку.

Более того, оказалось, что Алина Антоновна из-за военно-революционных пертурбаций задолжала своей швейцарской подруге немалую сумму, а последняя, несмотря на это, продолжала помогать обнищавшим Мотовиловым:

<...> Ведь ты от мамы фактически ничего [во время первой мировой войны] не получила. В 1915-м году, когда мама и Зина вернулись в Россию, мама хотела выслать тебе сколько-то тысяч [рублей], а ты написала – лучше подождать конца войны. То же написала и M-elle Broye. Ну, а в конце войны у нас уже не было никаких средств. Так мама и осталась должна M-elle Broye 20 000 [швейцарских] франков. Ну, а дальше и ты, и M-elle Broye все время высылали нам и деньги и посылки. (из письма сестре Вере)

Софья Николаевна приводила такие живописные сцены уплотнения «бывших помещиков», воровства и грабежей, вывоза за границу награбленного:

Вы себе представить не можете, сколько нас всю жизнь обкрадывали. Особенно после революции. В нашу квартиру [в Киеве], в шесть комнат, вселили несколько семей, а нас загнали сперва в три, а потом в две комнаты. Вселили нам людей из всяких подвалов, ночлежек.

Идейный коммунист из нашего домоуправления (или я не помню, как это тогда называлось) сказал маме: «Вы культурная семья, и поэтому поднимите культурный уровень этих несчастных людей». Не знаю, поднимался ли их культурный уровень, но материальный постепенно повышался: обворовывали они нас так, как могли. Привезенные из-за границы мамой часы исчезли в ванной на второй же день. Зина по своей барской привычке оставляла свои вещи в ванной. Ну а что мы могли? Мы были бывшие помещики, «недобитая буржуазия». А если помните, Ленин бросил лозунг: «Грабь награбленное!». Не знаю, помните ли Вы те годы, 1918-19, 1920-е?

<...> И вот одни из реквизировавших у нас тогда комнаты (заняли Зинин кабинет), жили у нас несколько лет, обворовывали нас вовсю, продали наконец нашу комнату, уезжают. Другая соседка бежит к Вике и говорит: «Они увозят вашу люстру!» Вика спокойно отвечает: «Ну и, слава богу, у нас будет меньше вещей». Это не толстовство, а просто барская халатность. Уехавшие от нас, муж и жена, сейчас же попали в тюрьму за воровство (не у нас, а на новой квартире). Мы-то на них никуда не жаловались. Их культурный уровень у нас не повысился, а скорее понизился.

Продолжение темы «несчастных людей, которым надо было поднять культурный уровень»:

Вселили к нам в 1920-х годах в квартиру из подвала семью бедных евреев. Довольно идейный большевик из домоуправления, вселяя их, сказал: «Вы люди культурные, можете много им дать». Все годы, которые они жили у нас, была сплошная мука. Крали все что могли, столовая у нас была проходная, и все исчезало со стола.

Масленка с маслом исчезла, они заявили: «Это ворона унесла». Представляешь, ворона несет в клюве фарфоровую масленку?! Бублики исчезали со стола: «Это крыса унесла». Когда мама вернулась от тебя из-за границы, она привезла мне и Зине часы. Мои еще целы, а Зина свои оставила в ванной, и они мгновенно исчезли.

И вот однажды они объявили, что имеют право сидеть на наших балконах: один был в гостиной, другой в столовой. За площадь балконов мы не платили, значит, балконы – для всех. Я пошла в юридическую консультацию, заплатила не то 3, не то 5 руб., прождала часа полтора, наконец, юрист меня принял. Выслушал меня и спросил: «Ваша фамилия?» – «Мотовиловы». – «А их?» – «Нудманы». – «Ну, так красным по белому написано, что они могут пользоваться вашими балконами». Это были двадцатые годы!

В другой раз опять забирали у нас комнату, это было уже в тридцатые годы. Я опять пошла к юристу. Народу много, ждала часа два. Заплатила, что следовало. Вхожу. Юрист злобно глядит на меня и спрашивает: «Вы что, домовладелица?» Вид у меня что ли такой – домовладелицы?! Объясняю, что я пришла по поручению моей сестры-врача, ей необходима отдельная комната, а ее забирают. Юрист отвечает: «Не только у врачей, а у И.Т.Р. (что означало «инженерно-технические работники», тогда начиналась индустриализация) комнаты забирают, а И.Т.Р. должны работать головой». Я обозлилась: «А врачи, по-вашему, работают ногами?» и ушла.

А теперь более подробно о профессиональной деятельности нашей героини в Киеве:

В 1918 году я была рада нашей революции, свержению царизма, наконец, возможности творить, сделать весь народ грамотным и пр. и пр. В Киеве была «гетмановщина», в России – «Совдепия». <...> Одним словом, я была охвачена восторженным творчеством: правда должна установиться, правда в нашей стране. Вернуться в Москву [из Киева] я уже не могла – у нас начали катастрофически сменяться правительства. Наконец пришли большевики. Я сейчас же принялась за организацию всех библиотекарей, чтоб никто не саботировал и все шли работать к большевикам. Была тогда в Киеве Книжная палата, учреждение чисто украинское.

Как только пришли большевики, Книжная палата поместила объявление, чтоб все, у кого есть частные библиотеки, пришли их зарегистрировать. Это было очень разумное постановление. Чтоб их не расхитили.

Я пошла сейчас [же] регистрировать нашу библиотеку. <...> Встретил меня в Книжной палате Александр Грушевский, брат известного историка Михаила Грушевского, тоже профессор. Зарегистрировав нашу библиотеку, я сочла [своим] долгом поделиться всем тем, что мы делали по библиотечному делу в Москве, о декрете об охране библиотек и т.д. Он слушал с интересом, и, приходя домой, я говорила: «Как приятно все-таки иметь дело с интеллигентным человеком!». Ну а потом, у нас жила служащая Книжной палаты и рассказывала, всякий раз после моего прихода заходил к ним разъяренный А. Грушевский и говорил: «Опять являлась эта большевическая ведьма!». Зина это время называет: «Когда ты была большевической ведьмой». Это был высший расцвет моей деятельности.

К сожалению, этими обрывочными воспоминаниями почти и ограничиваются записи Софьи Николаевны о 1918-1919 годах, когда начали «катастрофически меняться правительства».*

Уже после публикации в 1963-м «Минувшего» в «Новом мире» С.Н. Мотовилова записала такие живые впечатления о своей деятельности в Киеве:

1920-й год был одним из самых тяжелых в Киеве за годы нашей революции. <...> Я работала тогда в Доркпрофсоже ЮЗЖД, что означало Дорожный комитет профессиональных союзов Юго-Западных железных дорог. Наше положение железнодорожников все же было значительно лучше, чем остального населения. Я получала тогда ежемесячно, кроме пайка, 4½ пуда ржаной муки. Приносил мне ее какой-то рабочий из Арсенала. Я давала ему за это полпуда, и мне всегда было стыдно, почему я получаю так много, а он мало.

* В дополнение к этим фрагментарным записям читатель может пролистать «Очерки жизни в Киеве в 1919-20 гг.» некоей Л. Л-ой (Любови Александровны), опубликованные в «Архиве русской революции», т. III, стр. 210-233: (istmat.info/files/uploads/33587/arhiv_russkoy_revolyucii_t_3_1921.pdf).

А также «Киевскую эпопею (ноябрь-декабрь 1918 г.)» Р. Гуля в т. II, стр. 59-86: (istmat.info/files/uploads/33587/arhiv_russkoy_revolyucii_t_2_1921.pdf).

<...> Прихожу я как-то на службу, а моя помощница испуганно говорит, что у нас новое начальство. Он приходил к нам, был очень недоволен, что не застал меня, и страшно возмущен, что мы даем на линию, в передвижку, классиков в таких «прекрасных переплетах». Это были приложения к [дореволюционной] «Ниве». Далее, он взял несколько книг себе и заявил, что он будет брать сколько захочет и чтоб мы не смели записывать. Под конец визита сообщил, что он приехал из Одессы и что он поэт Саша Черный. Я сейчас же спустилась в его кабинет.

Это был высокий, рыжий человек, одно ухо наполовину оборвано. Я уже не стала опровергать его распоряжения, а только спросила: «Вы действительно Саша Черный?» «Да, я поэт Саша Черный». Я не поверила ему. Вернувшись со службы домой, я пошла к Заславскому, который жил недалеко от нас. Спросила его, был ли он знаком с Сашей Черным и каков тот. Заславский ответил, что Саша Черный невысокого роста, брюнет и эмигрировал за границу. Явно, наш рыжий, с оборванным ухом не был поэтом Сашей Черным. Правда, <...> потом он заявил, что решил переименоваться и отныне будет называться Сашей Красным.

<...> Мне хотелось вспомнить обстановку тех лет, этот голод, отсутствие интереса к литературе, эти телеги с замерзшими трупами, направляющиеся на кладбище. Зачем это забывать? <...> (главка «Мои воспоминания о Киеве и о собрании в клубе Главных мастерских ЮВЖД...» в «Литературных трудах С.Н. Мотовиловой»)

Давид Иосифович Заславский (1880-1965) до октябрьского переворота 1917-го и сразу после (например, в газете «Власть народа») «клеветал на большевиков». Он работал в 1919-м вместе с С.Н. Мотовиловой в Библиотечном отделе Коллегии пропаганды и просвещения при Киевском губернском исполкоме. Его арестовали как бывшего бундовца, но вскоре выпустили, по ходатайству нашей героини перед председателем Всеукраинского ЦИК В.П. Затонским.*

А в 1950-60-е С.Н. Мотовилова с интересом читала его фельетоны в «Правде». Но как низко пал, с унынием отмечала она, этот Д.И. Заславский, написав подлый фельетон о Л.Б. Пастернаке, когда последнему присудили в 1958-м Нобелевскую премию. Скорее всего, речь шла о статье «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» («Правда», 26 октября 1958 г.).

В частном же письме Софья Николаевна приводила совершенно непроходной для советской печати эпизод – как она «сцепилась на принципиальной почве с Форшихой»:

<...> С Форш я служила одно время. <...> Тогда можно было совмещать несколько служб. У меня их было сперва три, а потом даже четыре. Я уходила из дома с утра и возвращалась около двенадцати ночи. <...> Несмотря на мою загруженность работой я честно отбывала следуемые мне часы в Доркпрофсоже. А вот Форш числилась чем-то вроде инструктора по рисованию в детских садах, но я ее никогда не видала. Она была приятельницей [моего сослуживца, профессора] Мстиславского и жила у него.

* Из заметки «Печать» в берлинском «Руле» от 29 июля 1925 г.:

Советская власть приобрела еще одного крупного меньшевика; как он сам себя называет, «одного из самых голосистых противников советской власти и большевиков в 1918-19 годах». Это известный литератор Д. Заславский, писавший в петербургском «Дне» под псевдонимом Notunculus. Во вчерашнем номере «Правды» напечатано письмо его, в котором он сообщает, что об этом периоде его деятельности ему даже «вспоминать тяжело и стыдно». Собственно говоря, Заславский отрекся от себя еще в 1920 г., но не имел смелости сразу сделать это решительно. Уже в 1920 г. «письмом в редакцию «Киевского Коммуниста» я признал свои ошибки и отказался от политической деятельности».

<...> Он нравился дамам, три Натальи Александровны сразу были влюблены в него. Одна из них жила у нас. <...> И вот в эти годы к нам в отдел поступил молодой коммунист, он решительно вычеркнул Форш из ведомости на оплату служащих, ведь она никогда у нас не бывала. Тут-то я ее и увидела. Прибежала взлохмаченная старушонка и подняла негодующий крик. Чем это кончилось – не знаю. У нас все негодовали на этого секретаря: «Невежда, дурак, что он не понимает, что это нам честь, что у нас служит Форш. Он не знает, кто такая Форш!» Но я была, конечно, на стороне секретаря. Тут я сцепилась с Форшихой из-за Натальи Александровны.

Во время Деникинцев, когда Мстиславскому надо было скрываться, Наталья Александровна делала все для его семьи и его самого, он был с ней хорош. Она продавала свои вещи и отдавала [деньги] его семье, а когда пришли большевики, он не хотел ее больше знать. <...> И вот из-за этой Натальи Александровны я и сцепилась с Форшихой. У самой Форш было много мужей или возлюбленных (не знаю, как это называется). Один из них был философ Шестов. <...> Ну, так вот, эта Форшиха напала на Наталью Александровну, говорила, что у нее нет «женской стыдливости», что она навязывается Мстиславскому! А у нее самой была «женская стыдливость»?

Поясним здесь, что Ольга Дмитриевна Форш (1873-1961) – это известная советская писательница, еще в 1895-м вышедшая замуж за офицера-сапера Б.Э. Форша.

А Лев Исаакович Шестов (Иегуда Лейб Шварцман, 1866-1938) – русский философ-экзистенциалист, в 1920-м он покинул Россию вместе с семьей (на Анне Елеазаровне Березовской женился еще в 1896 году в Риме).*

В других письмах приводились дополнительные подробности про жуткие времена на Украине («пришли белые – грабят!, пришли зеленые – грабят!, пришли красные – грабят!»):

Боже мой, кто только у нас не жил! При Деникине – какая-то жена комиссара с мальчиком и еще одна еврейская дама. <...> При Деникинцах были ужасные еврейские погромы. Всю ночь стояли крики, били окна. Ужас! Старуха Кистяковская вспоминала [об этом] достойно: «Ничего особенного не было. Зашли ко мне, были очень вежливы». Она ведь не еврейка. А через год пришли большевики. Правительства еще не было, появились всякие бандиты и грабители. Несколько человек заняли квартиру старухи Кистяковской и начали ее грабить. Во-первых, поели все ее варенье, затем забрали все ее дрова и продали на базаре.

Вместо правительства была какая-то тройка, в нее входил и [мой знакомый] Мстиславский. Я работала с ним на двух службах. Я пошла к нему, чтоб выгнать этих бандитов от Кистяковской. Говорю с негодованием: «Какое они имеют право?!» А Мстиславский отвечает: «О каком праве можно теперь говорить, ведь теперь революция!» Но, все-таки, бандитов выгнали.

* Из воспоминаний А. Штейнберга «Друзья моих ранних лет», гл. IX «Лев Шестов»:

До того, как я покинул Россию в конце 1922-го года, я подружился не только с Ивановым-Разумником, натолкнувшим меня когда-то на Шестова, но и с Ольгой Дмитриевной Форш, принадлежавшей в ранней своей молодости к киевскому студенческому кружку, в котором встречались Шестов с Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым и даже с А.В. Луначарским. <...> Иное дело родная сестра [Фаня Исааковна]; иное дело Ольга Форш, которая, чувствуя тягу к кому-либо в особенности, не задумывалась признаться вслух в своей «братской любви». Шестова Ольга Форш когда-то, как-то по-своему очень любила. И его неприятие на скошенных полях разочарования, естественно, торчит острым укором: сколько было раньше теплоты и восторженного признания, столько градусов жгучего колючего мороза осталось после разочарования в отвергнутом идеале.

О.Д. Форш оказалась в Киеве в мае 1919 г. по командировке отдела реформ школы Наркомпроса, для работы в русской секции Всеукраиниздата.

Старуха Кистяковская, вероятно, от всех волнений умерла. Мама с другими [родственниками и знакомыми покойной] шла за гробом на кладбище. Гроб везли на телеге, ехали медленно, перед ними ехали телеги, нагруженные замерзшими трупами. Это был, кажется, ужасный двадцатый год. Голод в Поволжье, массы голодных ринулись на Украину, а тут свирепствовал голодный (сыпной) тиф. Люди умирали как мухи.

1921 год выпал из документальных свидетельств С.Н. Мотовиловой (не считая, конечно же, ее дневников, до которых мы не добрались), поэтому приведем краткое свидетельство из эмигрантской газеты:

В Киеве

Украинское бюро печати так характеризует жизнь в Киеве: «В городе бывает ежедневно по 20-30 случаев холеры, почти все смертельные, т.к. лекарств нет. Много [не привитых] детей умирает от скарлатины и оспы. Начали ходить трамваи, цена билета – 1 000 руб. за проезд. В Киеве все голодают. Более энергичные люди с мешком за плечами отправляются за продуктами по деревням, за 200-300 верст; идут пешком, т.к. на проезд по железной дороге нет денег и пешком дойти можно скорее, чем доехать. С мая месяца, т.е. со времени издания декрета о самосодержании государственных учреждений, служащие не получают пайка, а с 1 июля не выдается и жалование».

«Последние Новости» (Париж), 8 октября 1921 г.

Про 1922 год имеется удивительный документ Американской администрации помощи (АРА), опубликованный 30 июня в берлинском «Руле». Озаглавлен он так: «Киевская интеллигенция», и в нем проводится деление на две категории. К первой отнесена гуманитарная интеллигенция: от профессоров, учителей, докторов, библиотекарей до артистов, музыкантов, художников и журналистов. Насчет библиотекарей приведена весьма скудная информация: «Работники в библиотеках, за исключением некоторых, которые получали жалование от кооперативных учреждений, получали 0,5 млн. руб. в феврале и никакого пайка».

Поэтому приведем обширную цитату про «выживание» киевской интеллигенции второй категории:

Что касается доходов второй категории [(инженеров, архитекторов, ж.-д. служащих и служащих в сов. учреждениях)], то тут нельзя сказать ничего определенного. В конторах сов. учреждений жалование колеблется между 50-ю и более миллионами для высших квалифицированных специалистов и двумя миллионами для писца. С целью добыть более денег каждый старается занимать более одной должности, и, если возможно, не только муж, но и жена его и дети старше 15 лет стараются достать место. До последнего времени большинство сов. учреждений давали работу многим, но начиная с минувшего лета правительство сократило число чиновников до 25%. Само собою разумеется, что жалование, получаемое по службе, недостаточно, чтобы спасти от голода, особенно если оно выплачивается нерегулярно и часто после того как деньги уже потеряли, по крайней мере, половину своей покупательной силы.

Чтобы сохранить жизнь своей семье, работник умственного труда должен искать другие источники дохода. Некоторые дают частные уроки иностранных языков, другие пилят и колют дрова, иные чистят мостовые, переносят багаж со станций, шьют обувь, делают мыло, спички, а многие идут (часто пешком) в деревню, чтобы принести на спине пуд или два провизии. Женщины пекут хлеб и пирожные и продают их на улицах. Не является исключением, что жена профессора [(относящегося к более высокооплачиваемой, первой категории)] продает на базаре молоко, а сам профессор рубит дрова. А кроме того, т.к. многие дома не снабжены водой, во многих хозяйствах является трудной задачей добывание воды, что отнимает последние силы уставшего человека.

Но даже всего этого недостаточно, чтобы поддержать жизнь, и «интеллигенция» должна продавать свои вещи, чтобы сохранить жизнь. В течение минувших 5 лет многие семьи продали все, что они имели – золото, книги, одежду и белье, посуду и мебель. Многие из этих вещей пошли в деревню, где крестьяне отказывались принимать сов. деньги, а соглашались давать продукты только в обмен на вещи. Все деньги, которые семья добывает таким образом, идут на покупку пищи. Одеваться уже невозможно. Согласно закону сов. правительства, никто не мог иметь больше одного костюма и трех смен белья. Немногие вещи, которые были оставлены, изнасились, и никто не может купить новых. Нет ничего удивительного, что русский интеллигент является оборванцем, а дети его часто, за отсутствием обуви, не могут посещать школы.

В мае упомянутого 1922-го, когда интеллигенция, прежде всего библиотекари, элементарно вымирала в Киеве от голода уже при большевиках, С.Н. Мотовилова обратилась с призывом о помощи к незнакомому ей тогда лично Н.А. Рубакину (директору Institut International de Psychologie Bibliologique), в Лозанну:

Милостивый государь, пишу Вам по просьбе моих товарищей по работе. Дело в том, что в последнее время все чаще и чаще приходят из-за границы посылки: для ученых, для врачей, для учителей, для всевозможных обществ. Западная Европа идет на помощь русской интеллигенции, материальное положение которой очень тягостно. Забыли и, вероятно, забудут одну группу работников, материальное положение которой, может быть, самое тягостное: я имею в виду библиотекарей.

<...> В частности, я могу сейчас говорить о работниках Дорожной Центральной библиотеки Юго-Западной ж.д. Начиная с октября месяца [1921 года] они не получают никакого пайка (ни пищевого довольствия) – как все другие служащие, жалование получают нерегулярно и в таком ничтожном размере, что смешно о нем говорить.

Зимой наиболее здоровые ходили по ночам разметать снег на ж.д. путях, чтоб что-нибудь заработать, и утомленные ночной работой приходили в библиотеку, опять в холодное, нетопленое помещение.

<...> Меня и просили мои товарищи по работе обратиться куда-нибудь в Америку, в какое-нибудь библиотечное общество с просьбой о присылке посылок. Просили меня просто потому, что я владею английским языком. Но я решила, лучше обратиться к Вам. <...> К чести начальства должна сказать, что нам не отказывали в деньгах на все расходы. Нет денег только на одно: на оплату служащим. За эту зиму двое служащих заболели туберкулезом и одна [сотрудница] умерла, некоторые ушли на более выгодные службы. Осталось нас двенадцать человек <...>. Нуждаются все, наиболее остро – пять человек. (остальные, жуткие подробности см. в главке “О жизни в «стране большевиков»” Приложения «Литературные труды С.Н. Мотовиловой»)

В дальнейшей переписке с Н.А. Рубакиным наша героиня обращалась к нему уже как «Многоуважаемый Николай Александрович» и благодарила его за то, что он так быстро отозвался на ее призыв о помощи:

Результатом Вашего обращения к американцам была присылка в нашу библиотеку за это время 10 посылок АРА, из коих 4 были посланы из Нью-Йоркской Публичной библиотеки, а 6 первых – через 2-жу Posen, из Москвы? Кроме того пришла Ваша посылка Хансена.

American Relief Administration (ARA) – это Американская администрация помощи. Аналогичный институт помощи голодающим в СССР существовал и в Европе, обозначался по имени его руководителя – Фритьофа Хансена.

Этот эпизод через четыре десятка лет выглядел так:

Я написала письмо Рубакину, это было в двадцатых годах. У нас был голод, сыпной тиф, и я ему написала о нуждах наших библиотекарей. У Рубакина тогда училась одна американка, муж которой заведовал у нас АРА. Не прошло и двух недель, как наша библиотека стала получать по шесть АРАвских посылок ежемесячно, а письмо мое (правда без моей подписи) поместили в одном из библиотечных журналов США. Хавкина спросила одну нашу библиотекаршу: «Кто от Вас (в Киеве) это написал?» И та ответила: «Ну, конечно Мотовилова». Но тогда можно было за границей собирать на «помгол», и Горький собирал, и многие другие. Так началось мое знакомство с Рубакиным.

Здесь стоит сослаться на публикацию в том же «Руле» (от 16 июля 1922 г.) письма из Киева за 13 июня о том, что «в последнее время все чаще и чаще приходят из-за границы посылки: для ученых, для врачей, для учителей, для всевозможных обществ»:

Хотя АРА существует уже давно и все, имеющие родственников в Америке, чуть ли не купаются в американском молоке и кокосовом масле, однако общественная организация помощи, по-видимому, еще только *im Werden* [(в процессе становления)].

Отдельные ученые и некоторые группы ученых (напр. Академия Наук, профессора-медики) получают продовольственные посылки, но постоянного и широкого характера снабжение не имеет. Месяца два назад от некоей Берты Шунеман из Италии прибыло 30 посылок для ученых и литераторов Киева. Посылки эти были благополучно получены секцией под председательством проф. Митилино. Распределение прошло не без трудностей, т.к. по правилам АРА каждый должен получить целую посылку. Вскоре прибыли 11 посылок от Вашингтонского кружка экономистов. <...>

ПОСЫЛКИ ВЪ РОССІЮ

На основаніи правил о пересылкѣ посылокъ въ Россію, мы отправляемъ изъ Гамбурга-Freibafen, частнымъ лицамъ, во всѣ мѣста Россіи, продовольственн. и инныя посылки. Наши составлены и немедленно отправляются посылки 3-хъ типовъ, содержащія:

Типъ А — 500 мар.	Типъ В — 800 мар.	Типъ С — 1100 мар.
2000 гр. сахара куск.	4000 гр. сахара	5000 гр. сахара
1000 " свиного сала	2000 " свиного сала	2000 " свиного сала
500 " шоколада	1.000 " шоколада	2500 " риса
500 " чая це л.	1000 " риса	1500 " шоколада
1 б. сгущ. сладкого молока	500 " чая	500 " чая
	1 б. сгущ. сладн. молока	3 б. сгущ. сладн. молока

Цѣны франко адресъ получателя. Всѣ продукты амер. высш. качества.

Мы отправляемъ также посылки составленныя лично отправителями, получаемъ разрѣшенія на вывозъ, составляемъ посылки по желанію заказчиковъ, отправляемъ книги и журналы и исполняемъ всѣ инспекторскія порученія.

Бюро по отправкѣ посылокъ въ Россію

при экспедиц. транспортн. конторѣ
Berlin W 50, Augsburgstrasse 43 **Е. ПИНЕСЬ**

Осмотръ посылокъ, выдача сиралокъ, пріемъ заказовъ ежедневно отъ 10 до 4 часъ дня.

Объявление в «Руле» от 12 февраля 1922 г.

Продовольственныя и Фармацевтическія посылки въ Россію.

N. V. Amsterdamsche Export et Import Maatschappij Amsterdam (Amexima)

Центральное бюро по приему заказовъ на индивидуальныя посылки

Telephone: Centrum 95-16 u. 99-44 **BERLIN, UNTER DEN LINDEN 44** Telephone: Centrum 95-16 u. 99-44

Отдѣленія: 1. N. V. Amsterdamsche Export et Import Maatschappij Amsterdam (Amexima), Keizergracht 717. 2. Wien IX, Kollingasse 1. 3. New-York 220, West 42-nd Street (Candler Building). 4. Hamburg, Spitalerstrasse 10, Semperhaus A.

„Amexima“ принимаетъ заказы на Продовольственныя и Фармацевтическія посылки.

Продовольственныя посылки имѣются трехъ типовъ: содержащія продукты высшей питательности и высшего качества, Фармацевтическая посылка содержитъ медикаменты, необходимыя для подачи первой помощи, а также некоторые предметы первой необходимости.

„Amexima“ гарантируетъ высшее качество препаратовъ. — „Amexima“ единственно гарантируетъ заказчикамъ отъ какого-бы то ни было риска въ виду заключенія ею договора по страхованію посылокъ съ **Консорціумомъ Первоклассныхъ Страховыхъ Обществъ Германіи.**

„Amexima“ обязуется на каждыя 100 отправленныхъ жертвовать 5.

!!! Требуется подробные проспекты !!!

„AMEXIMA“ состоитъ поставщикомъ Городскихъ Самоуправленій, правительственныхъ Учрежденій, Кооперативовъ и т. д.

Объявление в «Руле» от 5 марта 1922 г.

Речь идет не о благотворительной помощи со стороны АРА (которая изначально была нацелена на прокормление голодных детей в Советской России), а об оплате их продовольственных посылок отдельными западными организациями и интеллигентами. И такая услуга широко рекламировалась. Например, в том же «Руле» с 12 февраля стали появляться объявления об отправке из Берлина и Гамбурга продовольственных стандартных посылок за 500, 800 и 1 100 марок (номер самой газеты в это время стоил 1 марку, а за 1 доллар давали 200-210 марок), из Амстердама, Вены, Нью-Йорка, Гамбурга (с заказом в Берлине) посылок неких трех типов, а также индивидуальных посылок.

А вот «информашка» в «Последних Новостях» (Париж) за 12 октября 1921 года, о 10-долларовых посылках АРА:

Во время рижских переговоров представителем Хувера – Вальтером Лиманом Брауном с Литвиновым был поставлен вопрос о праве бесконтрольной посылки именных продовольственных отправок ограниченного веса. На это госп. Литвинов, после того как он снесся с Совнаркомом, заявил, что сов. правительство видит в этом ущерб своему самолюбию и даже суверенности и отклонил предложение американцев.

Однако прошедшие несколько месяцев убедили сов. правительство в необходимости изыскать способы питания городов. В виду этого Чичерин уже по своей инициативе обратился к представителю Хувера в Москве Вернону Киллогу с извещением, что сов. правительство в принципе согласно разрешить отправку в Россию, через американскую организацию, индивидуальных посылок. В настоящее время Вернон Киллог прибыл в Европу и известил европейское отделение организации Хувера [(АРА)] о деталях выработанного им с Чичериным соглашения. Стоимость каждой посылки объявляется в 10 долл. Отправитель, по внесении указанной суммы, получает «продовольственный чек», который отправляется по почте, обслуживающей организацию Хувера, в Россию адресату. Последний предъявляет свой «продовольственный чек» в ближайший базисный склад Хувера, где получает «продовольственный комплект», составляющий рацион питания одного человека в течение месяца. <...>

Далее в том же октябре 1921 года в «Руле» появилось сообщение о достижении АРА с властями соглашения о том, что в различных местах России открываются склады со стандартными посылками на 10 и 50 долл. А «Последние Новости» (Париж) 3 ноября 1921 г. разместили подробную информацию на эту тему:

Ввиду поступающих в редакцию запросов относительно отправки посылок через организации Хувера в Россию, мы обратились в Европейское отделение Американской организации помощи [(АРА)], где нам сообщили следующее:

– Вопрос об отправке посылок через нашу организацию был возбужден Чичериным, который и обратился с соответствующим предложением к нашему представителю в Москве, полковнику Вильяму Хаскелю. В своем обращении наркоминдел отмечает, что Совнарком, «убедившись в лояльности организации Хувера, согласен поручить этой организации прием и выполнение поручений по снабжению городского населения прод. посылками». Полковник Хаскель немедленно снесся с Вашингтоном, после чего стороны приступили к выработке условий дополнительного соглашения.

В настоящее время полк. Хаскель занят выработкой деталей и выбором пунктов устройства распределительных базисных складов. Пока решено учредить две центральные базы: одну в Москве, другую в Киеве. Действие организации решено распространить на всю территорию России, включая Украину и те губернии, которые не поражены голодом. С платы, вносимой за посылки, будет взиматься в пользу Американской организации известный процент, который пойдет на улучшение питания детей в Поволжье.

«Продовольственные чеки» будут продаваться во всех европейских отделениях американской организации помощи, а там, где таковых нет, в комитетах Красного Креста. Копия чека будет немедленно препровождена в Москву, откуда последует соответствующая инструкция базисному складу. Посылки будут установлены ценою в 10, 20, 30 и 50 долл. Продажа чеков, как полагают, начнется в середине ноября.

Как мы видим, подобный склад должен был появиться и в Киеве, а отмеченные выше почтово-транспортные услуги (или же возможность сделать потовый перевод в ближайшую структуру АРА) наверняка были доступны и в Швейцарии, так что С.Н. Мотовилова вполне могла обратиться за помощью и к своим лозаннским родственникам, но она переживала не столько за себя, сколько за своих доходаг-коллег по библиотеке...

Однако в июле того же 1922 года в берлинском «Руле» появились удивительные письма о том, как «родная сов. власть» обирала сов. граждан как липку при получении ими посылок не через АРА, а, по-видимому, на почте.

Итак, приведем выдержки из письма присяжного поверенного Вл. Гольденберга, опубликованного 29 июля:

«...» Несколько месяцев тому назад я отправил через одно из множества образовавшихся ныне в Берлине транспортных контор посылки моим родственникам в Киеве.

Все эти посылки дошли (правда, по истечении 4-5 мес.), но, как ныне выяснилось из полученных мною писем, сов. правительство в неустанном попечении о нуждах своих подданных облагает все поступающие в Россию из заграницы товары такими невероятными пошлинами, при наличности которых отправка посылок становится совершенно бессмысленным видом «помощи» нашим несчастным родным и сводится к оказанию им «медвежьих услуг».

*За т.н. вещевую посылку (состоявшую из приобретенных мною лично на общую сумму 1 300 марок галантерейных и аптекарских товаров) получателя заставили уплатить 36 млн. руб. [совзнаками 1921 г.] пошлины! За каждую продуктовую (содержавшую всего 1 фунт какао) с получателя взыскали по 2,2 млн. руб. пошлин!**

В том же номере «Руля» за 29 июля было напечатано письмо жителя Гамбурга, который воспользовался услугами фирмы Дерутра (Deutsch-Russische Transport G.m.b.H.). Оказалось, что ни одна из посланных еще в марте в Москву посылок в 5 кг с вещами и в 15 кг с продуктами в июне все еще не дошла до получателя, и судьба их по наведенным справкам и в Гамбурге и в Сов. России была неизвестна. Этот же житель Гамбурга приводил примеры взимания пошлин и с маленьких посылок весом не более 0,5 кг (Muster ohne Wert): за фунт масла взяли «за досмотр, печати и веревку» 0,7 млн. руб., а за старый костюм из х/б – 4 млн. руб., «за эту сумму здесь можно купить два таких».

* По курсу на 30 марта 1922 г. 1,3 тыс. герм. марок составляли около 4 долл., а 1 млн. руб. в том же месяце мог расцениваться в 400-450 марок по курсу советского Госбанка и в 550 марок по курсу Наркомфина в Берлине. Но пошлины выплачивались, допустим, в июне 1922 г., когда 1 млн. руб. по курсу Госбанка расценивался примерно в 120 марок, т.е. за 4-долларовую вещевую посылку пришлось уплатить больше 4 тыс. несколько обесцененных марок, или 15 долл. (36 млн. руб.)! В июле того же года за 1,3 тыс. герм. марок в Москве можно было получить примерно 11,4 млн. в дензнаках 1921 г. (за 4 долл. – 9,6 млн. руб.). Т.е. опять-таки, 36 млн. руб. пошлины были эквивалентны 15 долл., или 3,2 тыс. обесцененных марок. Как ни считай, сов. пошлина в 2,5-4 раза превышала стоимость вещевой посылки!!

С милыми подробностями того как «родная сов. власть» обирала сов. граждан как липку можно ознакомиться по ссылке:

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-view-er/?set%5Bimage%5D=5&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Ffoai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifizier%255D%3D5fc99cf6-5c05-4291-a94c-5db09685e471).

Со слов других отправителей он информировал читателей «Руля»: «В провинции дело обстоит еще хуже. За 1 фунт шоколада в Арзамасе взяли 1,7 млн. руб. пошлины, а в Архангельске за гуверовскую посылку хотели взять 64 млн. и не взяли только потому, что было представлено удостоверение от комбеда о бедности».

К тому же не всегда посылки из-за границы доходили, а если и доходили, то оказывались разграбленными. В связи с этим Софья Николаевна вспоминала:

Вообще я не люблю получать посылок. Когда мама получала из-за границы посылки АРА и затем Торгсин, я ничего из этих продуктов не ела. Как-то мне моя подруга прислала в начале революции из Англии посылку с описью всех вещей. Все было перевернуто, и большая часть выкрадена. Из четырех банок варенья дошла одна, шоколад совсем не дошел. Вещевыми посылками там ведали наши эмигранты.

Они были жулики и обменивали вещи. Вера [из Швейцарии] закажет, например, дорогое пальто в «Лувре», все опишет, а приходит черт знает что. Подкладка из «Лувра» с надписью на подкладке совсем другого фасончика, какой-то дрянной верх! А один раз нам совсем другую посылку прислали, мама ездила ее менять в Москву (железнодорожные билеты у нас были даровые, и я и Зина служили на ж.д.).

Поясним здесь, что это за «чисто советское образование» – Торгсин:

Торгсин (всесоюзное объединение по торговле с иностранцами) был вначале небольшой конторой Наркомторга, которая продавала антиквариат, продовольствие и дефицитный ширпотреб интуристам. <...> Ситуация изменилась осенью 1931 года – правительство открыло советским гражданам двери Торгсина.

<...> Помимо розничной торговли Торгсин занимался посылочными операциями. <...> Родственники или друзья за границей выбирали один из вариантов стандартной посылки Торгсина, переводили валюту в его адрес, и в течение 48 часов после получения перевода Торгсин должен был отправить посылку по указанному адресу.

Советские граждане могли и сами выбрать продукты и получить их по почте после того, как в адрес Торгсина был сделан валютный перевод. Можно было получить продукты и из-за границы от иностранной фирмы – Торгсин продавал фирмам лицензии, дающие право отправлять посылки в СССР. (Елена Осокина. За фасадом «сталинского изобилия». РОССПЭН, М., 1998)

Возможно, что подобную лицензию имел и упомянутый «Лувр» (большой магазин в Париже, а не известный музей), а эмигранты-мошенники подменивали добротные вещи уже на почтамтах Финляндии? Своему новому лозаннскому корреспонденту, Н.А. Рубакину С.Н. Мотовилова стала подробно описывать библиотечные дела 1920-х, вот, например, выдержки «политико-социального направления»:

Сейчас стало страшно напирать начальство на «политграмоту», политграмота требуется от всех – и от учащейся молодежи, и от учительского персонала, и от библиотекарей. Библиотекари сейчас не только добровольно, но почти принудительно занимаются на политкурсах, кружках по марксизму и т.д. На последних библиотечных курсах, где мне пришлось читать технику библиотечного дела, лишь последние десять дней были отданы чисто библиотечным предметам, остальное время было посвящено политграмоте (политической экономии, марксизму и т.д.)

Главный дефект теперешних курсов [в том], что на них присылают совсем некультурных, чуждых книг людей, часто малограмотных, и предполагают, что в три-четыре недели их можно накачать всякими науками. «Политическая экономия» – в 6 часов, когда они самых простых слов не понимают.

<...> Но хуже гораздо, когда такой нахватавшийся верхов юноша воображает, что он знает все и может всех поучать. Страшно утомительны эти восемнадцатилетние начальства. Так как он ничего не знает, он подозрительно относится ко всему. Такое начальство сейчас приставлено к нашей библиотеке, этому уже лет двадцать, он окончил коммунистический факультет в Харькове. Что это за факультет, я не знаю. Образчик его подозрительности таков. Он решил проглядеть наши журналы, и, о ужас!, у нас [имеется] «Мир Божий». Явно что-то подозрительное, носящее религиозный характер. Взял просмотреть, не знаю, чем кончится.

Одно из предыдущих наших начальств (дольше двух месяцев они у нас не задерживаются) нашло подозрительной, контрреволюционной книгу «Положение рабочего класса в Англии». И когда ему сказали: «Но, ведь это же Энгельса», он удивленно спросил: «Откуда вы это знаете?» <...>Имена им ничего не говорят, а книг они все равно не читают. Но зависимость от подобных начальств – довольно скучная вещь.

Мы, например, не можем отстоять элементарного права: библиотекарь должен сам покупать книги. Нам [же] их присылают из Москвы или их покупают [в Киеве] люди, ничего в книгах не понимающие. Но, перемелется – мука будет, [бурлившая ранее] жизнь начинает уже оседать, вся эта шелуха и временный налет отойдет.

Однако «шелуха и временный налет», наоборот, с годами только укреплялись, поскольку были неотъемлемыми элементами «партийного руководства всем и вся».

Через четыре десятка лет наша героиня вспоминала другие живописные подробности «большевистских библиотечных вивисекций»:

В 1920-х я читала на курсах технику библиотечного дела. Директор у нас был мальчишка (бывший наш заведующий называл его «Ваш сморкач»). Это был недурной паренек. Заведовать библиотечным отделом его, вероятно, поставили для смеха. Он был крайне необразован, но очень решителен. Например, решил уничтожить все стационарные библиотеки, чтоб были [только] склады и передвижки. Я придерживалась иного мнения. Он поставил вопрос так: «Кто за мое мнение, а кто за контрреволюционное мнение Софии Николаевны?» Все были за него. Боялись быть «контрреволюционерами». И вот взбрендило ему в голову, чтоб, не сказав заранее никому, я устроила на [библиотечных] курсах экзамены, не в конце, а так – среди занятий, и всех проэкзаменовала сама, по всем предметам. Я старалась объяснить, что могу экзаменовать только по своему предмету, а по другим у нас есть лучше специалисты.

Тогда интеллигенция гналась за любым заработком, чтоб не умереть с голоду, и преподавали у нас университетские профессора. Я, конечно, ему не уступила, а подала заявление, что ухожу, мне надоело слушать его крики об «интеллигентской сволоте», «интеллигентской сволочи», я сама интеллигентка. Потом он занимался чисткой нашей библиотеки на железной дороге, где я работала. Их было три юнца: он от политпросвета, еще мальчишка из Ч.К. и мальчишка – заведующий нашей библиотекой. Всем троим не было шестидесяти лет (суммарно). Боже, что это было. Книги с полок летели вниз, образуя кучи.

«Отчего Вы бросаете книгу?», – спрашиваю я. «Я ее не читал». А много он книг читал? Из кучи выброшенных книг я вытащила книгу Ленина «Развитие капитализма в России». «Отчего Вы эту книгу выбрасываете?». «Нечего нам читать о капитализме». «Да ведь это же книга Ленина!». Подозрительный взгляд. В первом издании написано ведь Ильин. Объясняю, что это псевдоним. Где-то они справились, книгу вернули. Ну а потом этот юнец начал учиться, окончил медицинский факультет и уже в своей анкете писал, что он «интеллигент». (из письма И.Р. Классону)

И таких эпизодов чистки-изъятия-выбрасывания, калейдоскопической смены начальства в письмах своим корреспондентам наша героиня приводит не один десяток (см. опять же главку “О жизни «в стране большевиков»” «Литературных трудов С.Н. Мотовиловой»).

Между прочим чистка библиотек проводилась и по составленной под руководством Н.К. Крупской «Инструкции о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы», М., 1923. Так что В.И. Ульянов-Ильин-Ленин усилиями своих безграмотных соратников чуть не прошел по разряду контрреволюционного литератора!*

В мае 1924-го С.Н. Мотовилова отправила Н.А. Рубакину письмо с живописным сюжетом «библиотечный балаган – театрализованное представление»:

Только что вернулась из прощального вечера на наших библиотечных курсах, заведующей которых была [моя знакомая] Фридиева. Впечатление ужасное. Много слов по поводу «наших новых, красных библиотекарей», много громких фраз – но все шумиха. Стены сплошь покрыты плакатами и лозунгами.

Все это красно, кричаще, шумно, пестро. После торжественных речей были инсценировки. Инсценировали какой-то рассказ из «Красной нови», где сын-большевик кричит, чтоб арестовали «этого белогвардейца» – его отца. Ужасная драма, из которой делается балаган. Перед этим было какое-то рычание <нрзб.> – грубо донельзя.

Потом прочли две статьи, т.е. не прочли, а рассказали одну статью Луначарского и другую о Розе Люксембург. Я только что прочла письма Розы Люксембург – художественные, яркие. Но то, что говорилось сегодня, только стирало это впечатление. Затем был суд «над книгоубийцей», тоже аляповатая инсценировка. Какая-то девица изображала Библию, которая визжала, а «комендант» выталкивал ее из «пролетарского суда». Но неужели библиотека должна превратиться в балаган? Шумный, крикливый, пестрый балаган.

В июне-июле 1924-го нашей героине удалось два раза побывать в Москве. Вот выдержки из ее писем той поры Н.А. Рубакину:

<...> Думаю, что Вас интересует съезд [библиотекарей]. <...> Но на самом деле, по моему, это был не съезд, а одна из обычных инсценировок. Было все, как должно быть: и большой зал, и много украшений, и ужасно много аплодисментов, и страшно много приветствий. Но говорили только «свои люди» из центра, Москвы и Петербурга, Ленинграда теперь. Ни одного доклада с места, ни одного доклада людьми не из центра! Даже слово на три-пять минут неохотно давали. Представитель из Сибири с негодованием сказал, что он, представляющий треть всей страны, три дня не может получить слова.

* В апреле 1924 г. в «Правде» появилось письмо Н.К. Крупской с протестом против слишком широкого толкования понятия «контрреволюционная и антихудожественная литература». Вот как на это язвительно откликнулся берлинский «Руль» 15.4.1924:

<...> В другом номере той же газеты [«Правды»] вдова самого Ленина резко протестует против неслыханного мракобесия Главполитпросвета, который, как известно, издал «циркуляр об изъятии из библиотек ненужных и вредных книг». На основании этого идиотского циркуляра были изъяты «Платон, Кант, Мах, Лев Толстой, Кропоткин и т.д.». Крупская протестует, однако, не против самого мракобесия, напоминающего жесточайшие времена средневековья. Нет, напротив, она напоминает, что «мною был подписан циркуляр об изъятии книг». Беда только в том, что исполнители слишком широко размахнулись. И, по мнению Крупской, Канта можно было пощадить, потому что «массовик читать Канта не станет ... а проповедь Л. Толстого не страшна ... Не страшны и анархические тенденции Кропоткина». Этот протест мракобесия, пожалуй, еще знаменательнее, чем проявление такового.

<...> От Киева с правом голоса был студент-медик, бывший заведующий библиотечной секцией в Киевской губернии. Это он кричал когда-то, что нужно «за хвост и на солнышко выкинуть Толстого из наших библиотек», он участвовал в комиссии, изъявшей у нас и Короленко, и Салтыкова, и пр., и оставившей черносотенные книги. Он внес план уничтожения всех крупных районных библиотек и создания из всех книг губернии передвижек. И когда я возражала, упрекал меня в «контрреволюционности», полусушутя конечно. Он же кричал, что «не нужна нам интеллигентская сволочь», и создал библиотечные курсы, взяв слушателями украинских крестьян от сохи, едва грамотных, не понимавших лекций (они сбежали при наступлении полевых работ).

Правда, сейчас он вырос, многому научился. Но он, конечно, подлинный «новый, красный библиотекарь», славный, честный парень, без внутреннего равновесия, без культурного фундамента. Он был делегатом с правом голоса, а остальные двадцать библиотекарей, приехавших из Киева, – без права голоса.

В октябрьских от 1924-го письмах своему лозаннскому корреспонденту опять упоминались «большевистские идиотизмы»:

<...> Иногда с болью, с скрежетом зубным думаешь: неужели русский народ, русский пролетариат, это Versuchskaninchen [(подопытный кролик)], на котором малокультурные, малограмотные юноши производят опыты? Правда, в процессе творчества они сами растут, многому научаются, и, пороботав они дольше в библиотечной области, из них и выработались бы, может быть, хорошие работники. Но горе в том, что это случайные люди: шоферы, слесаря, медики, студенты-политехники и пр. Для них библиотечное дело – этап, момент.

<...> Разрушают с такой же легкостью, как и создают. Сейчас я с болью переживаю разрушение нашей Дорожной Центральной Библиотеки. Роскошное здание, занимаемое нами, передано под частные квартиры! «Высокопоставленные» члены нашего же [профессионального] союза взяли здание под свои квартиры! А библиотеку переносят на вокзал, в здание, в которое не войдут наши книги и где от сырости течет со стен. Довод: «Там больше рабочих». Причем они ведь думают, что все равно какие книги.

Понять не хотят, что Центральная библиотека и рабочая участковая, по книжному составу, совсем иные. Ужасно трудно!

<...> Вот уже месяц, как уложена вся наша библиотека, 3 000 читателей без книг, а помещение, куда мы должны переехать, не готово. Читатель вообще у нас на последнем месте: карьера, шумиха, служебные взаимоотношения, а потом уже как придаток – читатель.

<...> Я сейчас сижу в большой грусти, хоть погода дивная. У меня идет 35-е начальство по счету за 4 года! С мая месяца сменилось 4 заведующих библиотекой! О последнем, по моей просьбе (т.е. в вопросе о вновь назначаемом) передали высшему начальству, что он абсолютно не годится, т.е. заведовать большой библиотекой. И высшее начальство ответило: «Нет, он славный парень». Итак прошло уже 35 «славных парней», но бедное библиотечное дело [гибнет]! Нам дадут неподходящего заведующего, неподходящее помещение, неподходящие книги, неподходящий штат и говорят: «Мы создадим показательную библиотеку».

Я чувствую, что мне придется уйти, и эта мысль гнетет: очутиться сейчас в положении безработной – ужасно. Это поистине трагично: в стране, такой бедной культурными людьми, сейчас масса безработных квалифицированных, культурных работников. Зато «славные парни» работают вовсю. Но ведь это те же Салтыковские Ташкентцы!

<...> Я сейчас безработная: сокращена. У нас сократили трех лучших работников. Относительно меня было сказано «высококвалифицированный работник, сможет себе другую службу найти». Все это весьма юмористично. Правда, мне предлагают уже два места. Но у нас так много говорят о повышении производства, а вот выкидывают лучших работников и оставляют худших. И все-таки надо в России жить и вариться в этой каше. Тут – жизнь. (см. также главку “О жизни в «стране большевиков»”)

Так, как изящно сформулировала наша героиня: «надо в России жить и вариться в этой каше, тут – жизнь», думали, вероятно, и другие Мотовиловы, и Классоны. Но «каша варилась» весьма тяжело для них.

В ноябре 1924-го Алина Антоновна описывала своему дорогому зятю Николаю Алексеевичу Ульянову в письме в Лозанну суровую обстановку в Киеве. Прежде, чем перейти к своим делам, она упомянула про полуголодное существование двух киевских семей.

Первая состояла из шести человек, в которой один только шестидесятипятилетний старик зарабатывал писцом, но его заработок сократили с 24 до 17 руб.; а вторая – это одинокая старуха, проработавшая всю жизнь учительницей, умирала теперь в больнице от крупозного воспаления легких на почве «голодания и замерзания».

И далее:

<...> Грустно все это, и нам, которые еще не дошли до такого состояния, стыдно жаловаться на свою судьбу, хотя Сонино сокращение для нас очень чувствительно. Но есть еще Зина, которая зарабатывала всегда и, кроме того [мы надеялись], что и Соня что-нибудь найдет. Она до того удручена своей безработицей и тем, что сократили именно ее, а всяких безграмотных в библиотечном смысле тупиц оставили.

Соня была всей душой предана своему делу, любила свою библиотеку не за страх, а за совесть, боролась за ее существование, гордилась всякими нововведениями, увеличивающими число читателей. И вдруг и вся библиотека, и сама она пошли прахом. Найти же теперь место очень трудно, т.к. всюду и везде идут страшные сокращения. А Соня – не те, кто как-то умеют искать и устраиваться. Будем надеяться, что место все-таки найдется, хотя бы в отъезде в провинцию.

<...> Соня теперь работает в Национальной библиотеке, совсем другой жанр, чем прежняя, железнодорожная. Там работа была живее и современнее, а тут носит более научный характер, но Соня еще не знает, какие будут ее функции, она всего один день там поработала. Я рада, что она, наконец, устроилась, а то с ее тревожным характером она все время была в волнении.

В июле 1925-го обнаружилось подробности нового «места работы» нашей героини:

Вы жалеете меня, что я без работы. Нет, я служу и сейчас в двух самых крупных библиотеках Киева – Всенародной при Академии Наук и «им. РКП(б)».

Страшно занята и страшно не удовлетворена работой. В 21-м году, когда я была в Москве, мне предлагали работу в центре – «разработку библиотечной сети в общегосударственном масштабе». Правда, звучит громко? Это был год голода, разрухи и пр. и пр. Никаких статистических сведений нормально я бы не получила.

Я чувствовала, что это была бы (при тогдашней неорганизованности) какая-то Маниловщина, вероятно, ввиду «общегосударственного масштаба», хорошо бы платили, но это было бы пустое марианье бумаги. Я отказалась. Сейчас я «замечательно» зарабатываю. В Академии получаю 25 руб. в мес. (из них вычитают в профсоюз), что выходит много меньше прежних 25 руб. (продукты дороги), нечто вроде 50 [швейцарских] франков. В библиотеке РКП(б) до сих пор получала сдельно $\frac{1}{4}$ коп. за индексацию книги (за наклейку бумажки на карточку малограмотным людям платят дороже). (здесь и ниже – из писем Н.А. Рубакину)

В декабре того же года последовали дополнительные детали:

Я все дальше и дальше отхожу от организационной работы и всяких центров, делаю механическую работу, получаю за нее жалкие гроши (в три раза меньше чем кондуктор трамвая!), имею над собой (n+1), часто не знающих и непонимающих, начальств. И часто думаю, что хорошо было бы, чтоб все эти начальства как-нибудь отменились, и мы, настоящие библиотекари, смогли бы по-настоящему работать! Вы, конечно, знаете, что благодаря нэпу, интеллигенция у нас очень оправилась материально, и часто даже смешно становится, как человек, отрицательно относившийся к советской власти, теперь начинает относиться определенно сочувственно. Это общее настроение.

В 1926-м С.Н. Мотовилова находилась в треугольнике «служба – угроза безработицы – болезни»:

<...> Я тоже болею все время, даже на три дня брала отпуск, но в три дня, конечно, не поправилась, а только измучилась со всякими очередями, страхкассами и пр. Очень трудно: заболеть – это значит лишиться места, а лишиться места – это значит умереть с голода. <...> Вы спрашиваете меня, не переменяла ли я службу. Разве мы меняем теперь по своему желанию службы? Рада, когда нас не трогают, не сокращают, когда есть еще возможность зарабатывать хоть какие-нибудь гроши, на которые едва ли можешь существовать.

<...> Этот месяц, ввиду отъезда всех моих «начальств», я провела очень хорошо. Работа в консультационном отделе очень, очень интересна. <...> Но если это время у меня прошло хорошо, то завтра возвращается мое начальство, о чем я думаю с ужасом, ибо и в советском строе не перевелись Щедринские самодуры, и когда от них материально зависишь, то это ужасно. Вообще, материальная необеспеченность, вечный страх потерять службу, с одной стороны, бессмысленное вмешательство в вашу работу мало понимающих людей, с другой, ужасно! К старому, плохому, что было в дореволюционное время, прибавилось еще новое, той же категории. Превратиться в пунктуального, исполнительного чиновника, работающего только ради заработка, я не могу. Я интересуюсь, увлекаюсь своей работой. Она, работа, ведь идет только тогда хорошо, когда она идет радостно и бодро, когда она удовлетворяет работающего. Но когда начинаешь получать юмористические, чисто Помпадурские приказы, когда работать мешают, или дают милые советы: «гоните читателя в шею», то...

В 1927-м «треугольник» «служба – угроза безработицы – болезни» сохранился:

Директор [библиотеки] пришел, и началась крайне нервная дискуссия, закончившаяся изумительной речью [этого директора] Пастернака^{}. Никакой старорежимный чиновник не мог бы более рельефно сформулировать свою мысль, чем он. Он начал с пафосом, что не должно забывать, что мы строим «национальную библиотеку», а не какую-нибудь «всенародную библиотеку, как это вульгарно понимают некоторые» (взгляд в мою сторону), что цель «национальной библиотеки» не обслуживать читателя, а хранить неприкосновенно для будущих поколений обязательный экземпляр, который мы получаем. Национальная библиотека должна обслуживать только высококвалифицированного читателя.*

^{*} Речь идет о Степане Филипповиче Постернаке (Пастернаке, 1885-1938) – украинском педагоге, библиотекове, директоре Национальной библиотеки Украины в 1923-1929 годах. Из Интернета:

В 1930-е годы подвергались разгрому и библиотеки союзных республик. На Украине большого размаха достигло дело «Союза освобождения Украины». Точное число жертв, репрессированных по делу «Союза освобождения Украины», до сих пор не выяснено. По этому делу проходили 19 академиков, большинство из которых погибло в заключении. В разное время были репрессированы три директора Всенародной Библиотеки Украины: С.Ф. Пастернак в 1930-м, Н.М. Миколенко в 1933-м, В.М. Иванушкин в 1937 году.

<...> Надо было слышать, как он с пафосом говорил: «Все, кто работают – в профсоюзе, и значит все, кто работают, могут у нас читать». А жены и дети работающих? Очевидно, так же как и кулаки, могут не читать! Иначе, видите ли, у нас гибнет незаменимая ценность: обязательный экземпляр. Надо было видеть, сколько презрения он выражал мне и моему «вульгарному» пониманию, что библиотека – для читателей. Тщетно было объяснять, что, от закрытия дверей рядовому читателю, научного читателя не прибавится, что научного читателя могут привлечь книги, хороший подбор их и хорошие внешне условия работы.

<...> Я тоже болею, а болеть советскому служащему дело нелегкое, ведь у нас дня нельзя пропустить [на работе]! Только чувствуешь, что заболеваешь, вставай часов в шесть утра и беги в поликлинику. Должна сознаться, я раньше восьми туда не прихожу, и тогда уже перед дверями поликлиники стоит толпа больных, пляшущая на морозе (ибо у нас морозы в 13-16⁰ стоят). Записываешься в свою очередь и начинаешь приплясывать, чтоб согреться, до девяти часов. В 9 дверь открывается и вся эта толпа врывается в здание, и тут надо занять свою очередь и обыкновенно крик, гам, шум, а иногда и драки. Наконец попадаешь к врачу, опять очередь. Я, например, ежедневно должна ходить к врачу, а морозы страшные стоят, и ежедневно простаиваю в очереди полтора-два часа.

Но это еще не все: из поликлиники надо бежать на службу – объявлять о своей болезни. Врач дает отпуск сперва на два дня, потом еще на два, хотя бы ясно было, что болезнь затянется. На одну из служб прихожу со своим больничным листком, и новый заместитель заведующего (никогда никакого отношения к библиотечным делам не имевший) объявляет, что я уже у них « в штате не состою». Оттуда бегу в профсоюз выяснить, имеют ли право сокращать во время болезни, говорят – имеют. Кроме того, как только служащий заболевает, он снимается с жалования и должен получать плату по социальному страхованию, а эти деньги уплачивают по окончании болезни! И сколько бытовых картинок приходится наблюдать в очередях! <...>

А вот о чем писала Софья Николаевна своему корреспонденту Н.А. Рубакину в Лозанну в январе 1928-го:

Не знаю, представляете ли Вы тот книжный голод, который у нас в стране? На только что бывшем съезде о рационализации библиотечного дела в Москве Хавкина дала ужасающую цифру: 0,1 книги на душу населения! И вот, в это самое время наша Всенародная библиотека Украины выносит поистине ужасающее постановление: с 1 января 1928 года в читальный зал (общий) допускаются только студенты Вузов, члены профсоюзов и члены ВЛКСМ и ВКП(б)! Заметьте, только те категории лиц, которые и без того имеют свои библиотеки. Мы – единственная библиотека в городе, получающая обязательный экземпляр [всех изданий, вышедших в] СССР, единственная библиотека, скопившая за 10 лет чуть ли не 2 000 000 книг.

Если принять во внимание, что поступающие в Вузы профильтровываются страшно, что масса молодежи – вне стен учебных заведений, что часть готовится в Вузы, что часть интеллигенции и, может быть, очень культурной – вне профсоюзов, что средств у населения к покупке книг нет, я думаю, Вы можете понять, какой удар по культуре страны такое постановление приносит!

А между тем это постановление принято единогласно всем нашим советом, куда входят все заведующие отделами и академики (я не вхожу). Был только один голос против, это представительницы от всех остальных служащих. Я всегда, конечно, знала, что наши заведующие – не библиотекари, это люди, пришедшие из других областей работы, случайно попавшие в библиотеку и у которых нет любви ни к читателю, ни к книге. Но все-таки такого я не ожидала!

И, заметьте, все эти «завы» отнюдь не страдают от наплыва читателей, сидят в своих кабинетах, пишут свои статьи, бесконечно совещаются на заседаниях и, на мой взгляд, больше «украшают» библиотеку, чем нужны ей. Вся тяжесть наплыва читателей ощущается нами – средним персоналом, непосредственно соприкасающимся с читателем. Это мы бегаем за справками, лазим по лестницам, носим книги и пр.

И все-таки весь средний персонал возмущился. Беда только в том, что никто из нас права голоса не имеет. Наш протест по поводу этого, в понедельник, будет чисто платонический. Но как не протестовать! Сегодня я видела такую сцену: на контроле, где впускают читателей, стоит девушка-еврейка лет 18-ти, бедно одетая. Она не верит, что ее могут не пустить, она всегда тут читала, она на каких-то курсах готовится в Вуз, она не может быть без книг, она стоит с глазами полными слез, и слезы так и капаят! И я, съезживаясь, спрашивала: «Все еще стоит?», и мне отвечали: «Стоит».

Вспоминаю первые годы революции, когда мы так много и громко говорили о раскрепощении книги, о книге доступной всякому. Это я выносила постановление, чтоб все старые книги, до 1860 г., передавались в Национальную Библиотеку Украины, это я с служащими Академии наук тащила на тачках сюда всюду брошенные, беспризорные книги. Одна за другой вливались сюда библиотеки, и, казалось тогда, вот эти книги будут принадлежать всему народу, каждый будет иметь право читать... Казалось.

И теперь книги, 1 500 000 книг, правда, в порядке стоят на полках, сколько изданий одного Тургенева, но... Совет выносит постановление: «беллетристики не выдавать, учебников не выдавать». И все-таки я никогда не пойму, почему только члены профсоюзов, члены ВКП(б), РКСМ и студенты могут читать книги!? Мне говорят «завы», что я слишком «эмоционально» отношусь к этому вопросу.

Так что не одно лишь «пиво – только членам профсоюза!», но и книги – тоже!!

В 1928-м, пребывая все в том же «треугольнике», наша героиня была одновременно озабочена муторным оформлением поездки Алины Антоновны за границу (из писем Н.А.Рубакину):*

<...> Моя мать все хлопочет о паспорте, чтоб провести два месяца за границей. Сперва мы хлопотали о льготном паспорте, но из этого ничего не выходило. Сейчас уже решили заплатить 230 р., но канитель еще тянется, такая дикая административная волокита! Мама, конечно, пойдет к Вам в Лозанне, но, боюсь, ничего для Вас интересного сообщить не сможет: я все дальше и дальше отхожу от библиотечной работы в целом. Провожу 6 часов ежедневно в библиотеке над своими справками, а дома, хотя и читаю много, но не по библиотечному делу. Так что, видите, становлюсь очень скучной корреспонденткой.

<...> Этот месяц ни о чем думать не могла, так меня мучила мысль о мамином отъезде. Волокита чудовищная! 5 июля внесли деньги, 200 с чем-то руб. за паспорт. Через три дня только получили квитанцию об этом, в которой помечено, чтоб мы пришли за ответом, будет ли выдан паспорт, через пять недель! А лето уходит и уходит! Каждое учреждение задерживало наши бумаги две-три недели.

* Здесь стоит сделать попутное замечание насчет возможности поехать в Швейцарию в 1928 г., связанное со следующей публикацией в парижских «Последних Новостях» 15 августа 1924 г.:

Швейцарское посольство в Лондоне сообщает, что оно не будет впредь давать русским виз для въезда в Швейцарию, кроме бесспорных случаев, требующих лечения. Запрещение вызвано тем, что после убийства [сов. делегата] Воровского и оправдания [его убийцы] Конради сов. правительство запретило въезд в Россию швейцарцам и ввоз товаров. <...>

Но, может быть, до 1928 г. острый конфликт между большевиками и Швейцарией, в связи с убийством Воровского в Лозанне 10 мая 1923 г., в какой-то степени уже рассосался? Исследование сего сюжета выходит за рамки наших биографических очерков.

Сегодня [(1 августа)], наконец, мы занесли письмо от Луначарского с просьбой ускорить это дело. Сказали, что дадут паспорт в конце этой недели. А там пойдет возня с визами, польской, немецкой! А лето идет и идет! Раньше конца августа мама, верно, в Лозанне не будет. Так обидно ехать не на лето, а на осень. Мама так устала от всех этих хлопот, ведь ей больше семидесяти лет.

<...> Я с негодованием, болью и ужасом пишу Вам о всякой гадости, которая у нас творится, а Вы все это относите за счет коммунизма! Причем тут коммунизм!? В частности, все, что я Вам пишу о нашей библиотеке. Ведь у нас ни одного коммуниста нет, т.е. – нет, недавно появилась какая-то девица-комсомолка. Для чего ее нам дали, неизвестно. Она молода, малообразованна, назначена заведующей каким-то секретным отделением. Никакого влияния на общую жизнь библиотеки иметь не может. Так, *quantite negligeable* *.

<...> Вы пишете: «Если человек не способен создавать в себе атмосферу доброжелательных эмоций, пусть он лучше не лезет в общественную работу». Вот как? Вы, кажется, бросили эту фразу по поводу Хавкиной. Но к ней она мало применима, а я целиком принимаю ее на свой счет. Это я вечно негодую, возмущаюсь, протестую и ежеминутно рискую быть выкинутой со службы за отсутствие «консонанса эмоций» * с начальством. И эту черту протеста в себе, да и в других, я считаю общественной чертой *par excellence* [(предпочтительно)].

<...> Надеюсь, Вы не рассердитесь на мое письмо. Мама Вам кланяется. Приехала она [обратно] не без неприятностей: отобрали много вещей и положили 108 р. штрафа.

Упомянутая Софьей Николаевной необходимость заплатить за паспорт от 200 рублей и выше была вызвана следующим обстоятельством. Из публикации в берлинском «Руле» за 10 апреля 1926 года:

Согласно только что опубликованному декрету, все советские граждане, выезжающие за границу, подлежат особому налогу. Размер налога установлен, в зависимости от социального положения, в 200-300 рублей.

В 1928-м Алина Антоновна во второй (и, как позже станет ясно, в последний раз) сподобилась съездить в Лозанну.

На этот раз помог своей запиской, как мы видели, А.В. Луначарский, поскольку В.П. Ногин уже умер. Подробности доставания записки приведены в письме С.Н. Мотовиловой И.Р. Классону:

Вы не можете себе представить, что представлял собой Иноотдел в Киеве. Это было такое глумление, такая наглость, что трудно сказать. Одна родственница, приехавшая из Америки к нашей соседке по дому, всякий раз рыдала, приходя из Иноотдела, столько там глумились. Сказала, что никогда больше в СССР не приедет. Если маме удалось два раза побывать в Швейцарии, то оба раза по протекции. Другого же выхода не было? Один раз это было письмо от Ногина, другой раз письмо от Луначарского. Луначарский приехал в Киев, со своей женой актрисой, я бегала по всем театрам и всюду брала билеты на спектакли, где она выступала, чтоб мама могла с Луначарским встретиться. Видите ли, письма ему его секретарь, очевидно, не передавал.

* «Количество, которым можно пренебречь» – нечто малозначительное.

** Консонанс – благозвучное, согласованное сочетание звуков (в противоположность диссонансу). Термин, «консонанс эмоций» был запущен в «научный оборот» Н.А. Рубакиным.

*<...> Мама ездила в Швейцарию в 1923-м и 1928-м. Поручительство в Лозанне за нее вносила ее приятельница, швейцарка, т.е. не вносила, но гарантией были ее деньги в банке.**

Поручительство (деньги в банк) вносила, по-видимому, все та же M-elle Broye.

А.В. Луначарский приезжал в Киев не один раз, но упомянутый Софьей Николаевной эпизод относится, по-видимому, к 1928 году. Из воспоминаний Моисея Григорьевича Герчикова, относящихся к лету 1928-го (на тот момент он был студентом ленинградского Химико-фармацевтического института):

Лично для себя я решил бесполезным на время совсем оставить Ленинград и перед началом нового учебного года в институте съездил на пару недель в Киев, куда меня давно уже усиленно приглашали родственники. <...> В это посещение Киева мне удалось услышать одного из виднейших деятелей Советской власти, наркома просвещения и выдающегося оратора – Анатолия Васильевича Луначарского. Он выступил с платной лекцией о международном и внутреннем положении Советского Союза.

* Такие же издевательства от советской бюрократической системы и от советских чиновников приходилось испытывать интеллигентной публике и в Москве:

Из рассказов приезжих

Приезжают люди из Совдепии, рассказывают о тамошнем житье-бытье. В большинстве случаев от этих рассказов становится жутко, но и в трагическом иногда бывает смешное, хоть и приходится скзать: это было бы смешно, если б не было так грустно. Вот что рассказало о своих приключениях одно лицо, благодаря чрезвычайному счастью получившее разрешение на выезд.

“Начал я хлопотать об одной научной командировке, обещали сделать скоро, но уведомление о том, что Луначарский подписал разрешение, получилось только через 3 месяца. Когда я пришел его получить, то оказалось, что чрезвычайка наложила запрещение, и пришлось все начинать сначала... На этот раз, по какому-то счастливому случаю, удалось пройти все мытарства в один месяц – но когда пришлось писать разрешение, оказалось, что все документы по делу были потеряны, тем не менее, разрешение выдали, а потеря дела имела для меня то приятное последствие, что при первом разрешении с меня взяли слово вернуться, а второе было дано на выезд без права вернуться. Получив разрешение, я отправился на вокзал, на далекую окраину города, за билетом, конечно, пешком. Но билет получить оказалось не так просто – на меня посмотрели с таким удивлением, как будто я спрашивал билет не в Ригу, а на луну, и объяснили, что разрешение на выезд еще не дает права на билет, а т.к. я хочу ехать по частному делу, то, вероятно, мне билета и вообще не дадут, а впрочем рекомендовали обратиться в политический отдел чрезвычайки на другом конце города.

Там мне сперва сказали, что получить билет я не имею права, потом усумнились в своем праве решать этот вопрос и послали меня в другое учреждение, оттуда – в третье... не стоит подробно рассказывать о моих мытарства, достаточно сказать, что я побывал в 14-ти местах во всех концах Москвы и, вероятно, так бы и остался без билета, если бы в 14-м месте случайно не встретил знакомого, не имевшего отношения к учреждению, который в 5 мин. получил приказ на билет, благодаря знакомству с [зам наркома инодел Л.М.] Караханом.

Во время этого хождения по мукам пришлось наблюдать такую сцену. Придя в учреждение, я обратился к сидевшей у стола растрепанной особе: «Здравствуйте». – «К делу, нам некогда здороваться», – был суровый ответ. Выслушав меня, особа сказала, что пойдет с кем-то посоветоваться – пошла и пропала. У окна сидели еще двое служащих, молодой человек и барышня, они были чем-то заняты у окна и очень веселились. Пришел еще проситель, но барышня спровадила его: «Нам некогда, придите в другой раз». Со скуки я стал присматриваться к их занятию – молодой человек очень старался зажигательным стеклом запалить папироску, а девица внимательно следила за его трудами. Погода была неустойчивая, солнце то выглядывало, то пряталось. В конце концов, меня послали в другое учреждение, а папироску так и не удалось зажечь...

Наконец, все мытарства кончились, и я приехал на вокзал, разрешение Карахана оказалось так хорошо, что я получил место в курьерском вагоне. Но когда я хотел войти в вагон, меня не впустил курьер, вносивший бесконечное множество «дипломатических вализ» [в т.ч. с икрой и красной рыбой для пропитания сов. дипломатов? – МК]. – «Здесь мест нет, мало ли что там Карахан пишет, пусть для вас прицепят другой вагон». Пришлось бы мне ехать в теплушке, но на мой счастье приехал знакомый мне советский чин. Узнав о моих затруднениях, он поговорил с [дипломатическим] курьером, и тот, проходя мимо меня, сказал: «Что же вы не садитесь, поезд скоро пойдет»... <...>» «Руль» (Берлин), 9 июля 1921 г.

Театральный зал был переполнен. Прекрасное владение речевой техникой, в сочетании с большой и разносторонней эрудицией оставили у собравшихся слушателей самое благоприятное впечатление. В одной из лож находилась и жена наркома – известная артистка Н.А. Розенель.

Все же сюжет с доставанием «рекомендательного письма» от А.В. Луначарского (а ранее – от В.П. Ногина) требует дополнительного исследования. Дело в том, что согласно инструкции Наркомвнудела о порядке выдачи заграничных паспортов, выпущенной в марте 1923 г., поручительства отменялись, в то же время требовалось оформить массу других документов и заплатить за паспортный бланк 10 руб. золотом*.

Здесь стоит рассказать немного о «жене-актрисе» Наталье Сац-Розенель-Луначарской, брате последней Игоре Сац и некоторых других, близких к ним персонажах, тем более что Софья Николаевна регулярно упоминала об этих персонах в своих письмах родственникам в Лозанну и Москву. Из письма за январь 1962-го:

<...> Сейчас набросилась на воспоминания Розенель о Луначарском. Он, так же как и я, любил читать в библиотеке. Дама, которая должна приехать к Вике в Малеевку, это жена брата этой Розенель.

Вы поняли? Вторая жена Луначарского, Розенель по первому мужу, была актрисой (говорят бездарной), но красавицей. Вика еще ее видел, когда она такой была. Ну а несколько лет тому назад идет он со своими приятелями, и навстречу им идет какая-то накрашенная, странно одетая дама. Вика восклицает: «Поглядите, что за урод!», а его приятель [Игорь Сац] тут же останавливается и целуется с ней, это его сестра! Она уже вышла замуж за другого, после смерти Луначарского, но сохранила фамилию Луначарская, очевидно как более выгодную. Как-то приезжала ее дочь [от первого брака, Ирина] в Киев. Позвонила Вике, чтоб поставить к Вике свой автомобиль. Очевидно, думала, что у него свой гараж. [Домработница] Ганя рассказывает: «Дочка Луначарского». Я говорю: «Да у него же никогда дочери не было, а был сын. Погиб на войне». Викин друг Тотоска, талантливый юноша, по-моему.

Итак, Наталья Александровна Розенель, урожд. Сац (1900-1962) – это советская актриса. Играла в московском Малом театре и снималась в немом кино. Первым мужем Н.А. Сац-Розенель был Лев Розенель (погиб в гражданскую войну), вторым – нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский (который ради этого брака бросил свою первую жену Анну Александровну, урожденную Богданову), на двадцать пять лет старше новой жены.

Н.А. Розенель-Луначарская издала книгу «Память сердца. Воспоминания». Ее брат – Игорь Александрович Сац (1903-80), критик, литературовед, бывший литературный секретарь А.В. Луначарского, а также муж Раисы Исаевны Линцер («Сацихи»).

К сожалению, воспоминания Н.А. Сац-Розенель-Луначарской, несмотря на многообещающий заголовок, представляют из себя лишь чуть беллетризованные отчеты о ее встречах с известными людьми: «Луначарский-читатель», «Л. и Маяковский», «Л. и Брюсов», «Л. и Южин», «Л. и Брехт», «Л. и Моисси [(немецкий и австрийский актер)]», «Остужев», «Марджанов», «Андреева», «Архипов», «Борисов». Даже в главе «Великий немой» она, мельком упоминая о родственниках, даже не называет их имен:

В мои очень ранние, еще дошкольные годы мать как-то сказала, что возьмет нас [с братом] с собой в синемаграф (тогда так называли кино).

* См. заметку «Новый порядок выдачи заграничных паспортов» в берлинских «Днях» от 25.3.1923: (elibr.shpl.ru/ru/nodes/9863-121-177#page/30/mode/inspect/zoom/8).



Н.А. Сац-Розенель-Луначарская («еще не урод»!) со вторым мужем, Берлин, 1930 г.

В Интернете можно найти более занимательную информацию о «второй жене Луначарского» и о нем самом. Например, такую:

Вторая жена наркома Наталья Сац-Розенель-Луначарская получила от советской власти все предметы роскоши, что выписывали из-за границы большевистские вожди: деликатесы, белье, духи, кружева, фрукты в сахаре, ананасы. Но этого показалось мало: под предлогом создания детской колонии Наталья Александровна получила в свое управление Александровский дворец – бывшую резиденцию Николая II [в Царском селе]. На антресольном этаже супруга наркома устроила свои покои, туда свезли всю дворцовую мебель, библиотеку и гардероб членов царской семьи. А потом все это бесследно исчезло.

Сталин даже сделал соратнику замечание по поводу поведения его жены. «Я люблю эту женщину, товарищ Сталин», – возразил тот. «Любите дома. А в казенной машине чтоб не смела разъезжать по магазинам и портникам». Впрочем, в жизни наркома была еще одна Наталья Сац – племянница жены, в будущем – создатель Детского музыкального театра, потрясающая красавица. А в Театре Вахтангова служила актриса Руц, тоже блестящая женщина. И обе были любовницами Луначарского. В театре острили:

– Где Луначарский? То ли с Сац, то ли с Руц...

В общем, «большим ходоком» был престарелый нарком А.В. Луначарский, зато имел возможность дарить своим избранницам чуть ли не дворцы! И это в то время, когда полуборванные и полуголодные советские люди «строили социализм»!!

И еще один сюжет, связанный с поездкой Алины Антоновны в Лозанну, то есть за границу.

10 апреля 1926 года берлинский «Руль», основываясь на советских публикациях, напечатал заметку «Берегите валюту!», из которой мы приведем такой фрагмент:

Большевики принимают решительно все меры, чтобы поддержать падающий червонец. «Экономическая жизнь» в горячо написанной статье призывает «беречь иностранную валюту». Приближается время летних отпусков, – пишет газета, – многие уже намечают планы их использования. В этих планах особо выдающееся место отводится заграничным поездкам. Очень и очень многие стремятся в той или иной форме, под тем или иным предлогом провести летний отдых в Италии или на Балтийском море, в Германии или Австрии и т.д.

К сожалению, однако, при этих проектах всяких заграничных поездок и экскурсий обычно забывается, что эти поездки есть не что иное как вывоз валюты за границу. В нынешних наших условиях бережное отношение к иностранной валюте должно занять одно из виднейших мест в общем режиме экономии. Ненужные, не оправдываемые серьезными государственными соображениями поездки за границу, равным образом, и поездки частных лиц, должны быть сокращены до минимума.

Однако, к Алине Антоновне этот призыв почти не мог быть отнесен – ведь она потратила валюту, да и то косвенно, лишь на переезд по железной дороге от советской границы до Лозанны, а остальные зарубежные расходы, включая и обратный проезд, взяли на себя, конечно же, родственники Ульяновы.

Из приписки Софьи Николаевны при пересылке киевской открытки Зинаиды Николаевны за март 1961-го в Лозанну:

Посылаю тебе Зинино письмо. Зина больна уже неделю. Что с ней, я не знаю, зайти к ней не могу, так как кроме обычной приживалки и Вики у них еще [гостит] Викин «друг» Сац, присланный «Новым Миром» редактировать Викину новую вещь [(повесть «Кира Георгиевна»)].

Это все тот же младший брат Н.А. Сац-Розенель – Игорь Александрович Сац. У нее был еще старший брат – композитор Илья Сац, но он умер в 1912 году.

Из приписки Софьи Николаевны при пересылке московской открытки Зинаиды Николаевны за ноябрь 1962-го в Лозанну:

Пишу [тебе] комментарии к Зининому письму.

Раиса Исаевна, это жена Игоря Александровича Саца. Сам он – брат последней жены Луначарского (Розенель по мужу, она недавно умерла) и был секретарем у Луначарского. Критик, образованный, теперь это у нас называется «эрудированный». Одно время (в 1956 г.) заведовал отделом критики в «Новом Мире», но Твардовского (тогда [главно-го] редактора «Нового Мира») сняли, а на его место поставили Симонова.

Познакомился с ним Вика через Твардовского. (Мое мнение о мадаме и всей этой банде ты, очевидно, знаешь из других моих писем.) Сац – пьяница, и у них в доме идет (т.е. шла) такая пьянка, что старший сын Женька (очень красивый) не мог учиться. Вика его взял к себе, он прожил у Зины и Вики три года. Потом женился и внезапно умер, остались его жена и дочь. Младший сын «Сашуня» – талантливый музыкант, кончает консерваторию, женат тоже на консерваторке. <...>

Из письма за ноябрь 1961-го:

У Вики жили, по 3 года каждый, сын [Женька] одного его знакомого [(Игоря Александровича Саца)], в Москве не мог кончить 10 классов, и Ванька [Фищенко], с которым он воевал, прототип Чумака в его «Окопах Сталинграда». Или как они теперь должны называться. Окончили они какой-то геолого-угольный техникум, получили очень хорошие службы. Ванька все служит, занимая место инженера.

Более подробно о Раисе Исаевне Линцер-Сац («Сацихе», по С.Н. Мотовиловой) мы упомянем в очерке «Виктор Некрасов в разных измерениях».

Вернемся в октябрь 1928-го. Вот как дочь Софья описывала гостившей в Лозанне маме Алине Антоновне их выживание в Киеве:

У нас вдруг наступил страшный холод и так как дома еще не отапливаются, то в помещениях ужасно холодно, не так у нас дома, как на службе. Я уже выкупила [из ломбарда] свою шубу, и хоть у нас на службе новое правило, снимать шубы у швейцара, я через полчаса пришла за ней обратно, так замерзала, и дальше уже работала в шубе. Ей от этого не поздоровится.

<...> Казалось бы, нет ничего проще – получить булку по рецепту^{}. Но это – казалось бы. Ее выдают в самые неопределенные часы и чтоб ее получить, надо стоять часа два. После твоего отъезда обычно я стояла, выдавали вечером. Потом ходила [соседка] Оля, потом мы дали рецепт [соседке] Кларе Абрамовне, чтоб она, получая для себя, и для нас брала. Но она приходила оттуда в такой экзальтации^{**}, а они так причитали, что Клару Абрамовну больше не пустят, что мы взяли рецепт обратно.*

Вчера ходил Вика, простоял два часа и принес две булки недельной черствости и черные – все в саже. Сегодня пошла я, заранее спросила, дадут ли мне по моему рецепту, сказали – дадут, у меня стоял на примусе обед, я побежала домой, боясь что все сгорит, опять послала Вику, опять он стоял минут сорок, и ему отказали дать!

Дорожает все сверхъестественно: вчера купили муки по ...32 коп. фунт. Думаю испечь пирог к Викиным именинам. Рис купили по 48 коп. фунт, были в ужасе, но когда рассказывали знакомым, они меня спрашивали, где я купила, так как всюду рис по 60 коп. фунт. Зина зато была очень горда: она достала в своем кооперативе 2 ф. риса по 20 коп. и сахара, которого тоже нигде нет.

Но тут Зина [наконец-то] сообразила, что она ведь все время могла доставать продукты в своем кооперативе по дешевым ценам. В этом месяце Зина [за первые] полмесяца получит по старой ставке, а [за вторые] полмесяца – по новой, пониженной. Кроме того, она надеется, что им уплатят за две недели неиспользованного отпуска. Боюсь, что эта зима у нас будет очень трудная. Страшно возрастающая дороговизна, и уменьшенное жалование.

<...> Зина с Викой ходили вчера покупать Вике калоши. Выдают с узкими носками только членам Сорабкоопа. Значит, они ничего не купили.

В 1929-м, когда Софья Николаевна работала в консультационном отделе Всенародной библиотеки Украины (бывшей – Академии наук), началась разнузданная травля ее работников:

Недавно в местной газете появились две статьи против нашей библиотеки. Но, увы, это была не серьезная критика, а просто омерзительные доносы, что де у нас служат лица из бывших профессоров Духовной Академии. Дворянство и духовенство – это те два класса, которые в царской России имели возможность учиться, приобрести знания, и, казалось бы, естественно эти знания теперь использовать. Но им кажется, можно назначить в библиотеки любого малограмотного шофера, слесаря...

<...> Ну, одним словом, недавно приняли 30 новых сотрудников. По-видимому, те, которых не приняли, решили повести против библиотеки газетную кампанию. Начали с того, что никуда не годится наш консультационный отдел, так как автору статьи полгода тому назад дали плохую справку. Не только не годится отдел, но и вся библиотека. Еще «поедаются» вредителями все книги (конечно, вранье!), неправильно расходуются деньги, и все потому, что среди служащих есть лица духовного происхождения – были перечислены их имена.

^{*} Детское, лечебное питание от АРА?

^{**} По-видимому, «в экзальтации», т.е. в возбужденном состоянии.

<...> По-видимому, существует какая-то кучка людей, которая склонна была бы разгромить все учреждения и самим занять места ушедших работников. Самое ужасное, что все эти трения кончаются обычно разрушением учреждения, вокруг которого они скопляются. На моих глазах ведь погибли и библиотека Юго-западной железной дороги в 40 000 книг, и Центральная библиотека Профессиональных Союзов, и Педагогическая библиотека. Наша Всенародная библиотека Украины была действительно дитем революции, она выросла в эти десять лет, крупнейшая библиотека в Украине.

И вот я с ужасом думаю, не могут ли эти газетные нападки привести к ее распылению? Люди, который стоят во главе ее, по крайней мере, берегут книги, на мой взгляд, может быть слишком берегут их от читателя, но во всяком случае ими руководят, с их точки зрения, хорошие намерения.

<...> Любовь Борисовна [Хавкина, будучи в Лозанне,] верно Вам говорила, что я май провела в Крыму, в доме отдыха работников Просвещения. В смысле природы, питания было там очень хорошо, но в смысле общества я была в ужасе. Никогда не предполагала, что наши «просвещенцы» такие сами не просвещенные и не культурные люди.

Необразованность прямо сказочная, такого я там насмотрелась и наслушалась, что трудно поверить. Были, главным образом, сельские учителя и учительницы, две трети – женщины, избачи, работники профсоюзов. Но все же очень обидно подумать, что в руках этих людей просвещение широких народных масс (из писем Н.А. Рубакину).

В 1930-м С.Н. Мотовилову уволили за «отрицательное отношение к украинизации советских учреждений» (sic!):

<...> Я уже третий месяц без работы и, конечно, очень негодую на это. Никак не думала, что так трудно будет найти работу. Сейчас имею временную работу, составляю предметный каталог на сочинения Ленина и книги о нем для Ленинской комнаты участковой библиотеки.

Получаю за это 1 р. в день, а если считать время, которое я на это трачу, то это составляет 18 к. в час! Работа интересная постольку, поскольку в моем распоряжении масса книг, и для [составления] предметного каталога приходится много прочитывать. Но, конечно, начальству кажется, что эта работа не важна, вот писать яркие плакаты и лозунги – это другое дело, всем в глаза бросается. Сегодня мне серьезно говорили, что «не важно» для Ленинской комнаты, имеется [ли] полное собрание его сочинений, а важнее купить красной материи и обтянуть ею стол в этой комнате. И сейчас я взяла из одного Ленинского уголка книгу Ленина, а она даже не разрезана! А книга старая. <...> И я невольно всегда вспоминаю одного библиотечного работника, который говорил мне: «Как это вы не поймете, что важна не работа теперь, а шумиха». Мне это все противно.

<...> Мы никак не можем вылезти из нужды, и это при условии, что у нас в семье из четырех человек трое зарабатывают! Знаете, год-два нужды, это еще ничего, но тринадцать лет подряд – это уже невыносимо. И когда мысль занята тем, где добыть денег на следующий день, когда мать моя пять месяцев подряд была больна, и, казалось, конца нет ее болезни, и не было возможности улучшить ее питание или послать ее в санаторию, не пишется [Вам]. А весной заболела моя сестра, брюшной тиф, была чуть не при смерти и теперь очень медленно поправляется.

<...> Кроме материальных, невыносимо тяжелых условий ужасно, для меня по крайней мере, отношение у нас к интеллигенции, точно мы какие-то парии поднадзорные. наших детей не принимают в Вузы, нам самим постоянно дают понять, что терпят остатки интеллигенции, пока недостаточно своих «кадров». А эти подрастающие новые «интеллигенты» сплошь и рядом ужасны: малограмотные, малокультурные, грубые и мещанственные до последней степени.

<...> У нас организуются новые библиотеки научные, и Вы бы видели, что за люди их организуют! Ничего ровно не знают, совершенно некультурные, и меня злость берет: я так хорошо могла бы организовать библиотеку, я много и читала, и много думала о библиотечном деле, но я «идеологически не подхожу». Я даже умудрилась, о ужас, на общем собрании цитировать Ленина – то, что он говорил о специалистах.

Мне заявили, что я не умею «диалектически мыслить» и то, что говорил Ленин в 1922-23 годах, теперь не годится. Первым это, конечно, заявил [наш общий знакомый библиотечный сотрудник] Балика, а затем и члены нашей ревизионной комиссии. Цитировать Ленина – это уже отсталость!

У меня падает энергия, мое обычное увлечение работой, ибо все же хочется творческой работы, а тут вот уже шесть лет подряд приходится выполнять приказания ничего не понимающих людей, видеть как вокруг делается глупость на глупости, главным образом, от невежества. Работать тяжело.

<...> Ну, а теперь расскажу Вам, как плачевно окончилась моя пятнадцатилетняя библиотечная деятельность. После бывшей у нас ревизии, во время которой я всячески старалась отстаивать всех наших (так что мне члены ревизирующей комиссии кричали: «Кто вас просит быть их адвокатом?») нам назначили нового директора*.

[Прежний директор] Пастернак теперь в библиографической комиссии при Украинской Академии Наук. Новый директор, назначенный к нам, оказался лицом, ничего не смыслящим в библиотечном деле, зато – странным соединением украинского шовиниста и коммуниста. Бывают теперь и такие соединения!

<...> На этот раз несколько из моих товарищей по работе, желая, очевидно, подлизаться к новому директору, ввиду его репутации, вдруг забили тревогу, что я весной не сдала экзамена по украинскому языку. Не сдала я этого экзамена, так как в это время очень опасно была больна моя сестра [Зинаида] брюшным тифом, из-за чего я тогда же взяла отпуск и даже на службу не ходила. Потребовали от меня объяснений, я объяснения дала.

Мое начальство написало изумительную резолюцию, что я действительно имела уважительные причины на экзамен не пойти, что я действительно все эти годы революции училась на государственных курсах украинскому языку, что языком я в достаточной мере овладела, но что, ввиду моего «отрицательного отношения к распоряжениям советской власти в деле украинизации» (откуда они это взяли?), я должна быть уволена. Бумажку послали в УкрНауку. УкрНаука разбирать вопрос не стала, а прислала бумагу в шесть строк с четырьмя грамматическими ошибками о том, что «лица, отрицательно относящиеся к украинизации, в советских учреждениях служить не могут». Выходит, что я нигде [в Киеве] служить не могу!

<...> Один мой знакомый уговорил меня взяться вновь за мою старую работу – геологию. <... > Работала я сейчас два с половиной месяца в геологоразведочной партии. Сейчас у нас в Союзе очень много практической геологической работы. (из писем Н.А. Рубакину)

* В сентябре 1930 г. директором Всенародной библиотеки Украины был назначен Никифор Миронович Николенко, о котором Софья Николаевна 30 октября 1933 г. в письме В.Д. Бонч-Бруевичу отозвалась так:

Для меня, например, было большим удовлетворением узнать, что псевдокоммунист Николенко (подававший вместе с бандой гетмановцев и петлюровцев донос на меня, что я «отрицательно отношусь к сов. власти!») оказался польским шпионом. Человек этот арестован, и его вредительская деятельность кончена.

В декабре 1937 г. Н.М. Николенко расстреляют в Ленинграде...

А вот как Софья Николаевна вспоминала об украинизации советских учреждений уже в 1960-х:

<...> Сколько раз меня выгоняли со службы без права где бы то ни было работать, не только на Украине, но и во всем Советском Союзе. Раз это было так, я работала в библиотеке Академии Наук [тогда она носила название Всенародной библиотеки Украины – МК], страшно «щиром» украинском учреждении.

Все тогда должны были говорить по-украински. Экзамен украинского языка надо было сдать. На старости лет я упорно училась украинскому языку, сдавала экзамены. Ко мне приходили учителя на дом. Экзамены я сдавала, правда, не по первой категории. Акцент-то у меня был очень хороший, все говорили, что даже не русский, а какой-то французский, и всем делалось смешно. <...> Украинский экзамен должны были держать все, даже сторож еврейского кладбища. Зина тоже должна была его сдавать. В моей «щиро» украинской библиотеке рекомендовали одного очень знающего украинца – учителя истории в прошлом. У нас же одно время история была уничтожена.

Это тогда хорошо отразилось на библиотеках, многие преподаватели истории пошли работать туда. Ну а наш преподаватель украинского служил священником! Это у них что ли был протест? Многие шли в попы.

Приведем достаточно объективное свидетельство Анания Рохлина (Люди большой души и горячего сердца. О четырех поколениях семьи Мотовиловых-Некрасовых // «Зеркало недели», Киев, 19-25 ноября 1994 г.):

Шли тридцатые годы – середина первой пятилетки. В стране царил атмосфера травли, доноительства, ненависти, духовного и физического террора. Сталинский режим сотрясал «одну шестую», но наибольшие муки постигли многострадальную Украину. Одновременно с насильственной коллективизацией шла депортация сотен тысяч крестьян с семьями в сибирскую тайгу и безлюдную тундру. Вместе с этим проводилось планомерное, беспощадное уничтожение национальной интеллигенции.

Состряпанные в ОГПУ громкие процессы – Шахтинское дело, Промпартии, СВУ (Спілки визволення України) заканчивались ссылками в глухомань, лагерями, тюрьмами и расстрелами. Все было направлено против гуманитарной и технической интеллигенции с целью обезглавить Украину, лишить ее научного и творческого потенциала. Кампания эта охватила буквально все стороны жизни.

В ту пору тетка Некрасова – Софья Николаевна Мотовилова работала консультантом в центральной библиотеке УАН (Украинской академии наук, ныне им. академика В.И.Вернадского). Борьба с «уклонами» не обошла и книговедение. Велась она под лозунгом защиты материализма от идеализма, марксизма-ленинизма от буржуазной идеологии. Фактически же она преследовала цель «ликвидировать» крупнейших украинских ученых-библиографов с мировыми именами.

Для этого в июне 1930 года в Киеве было созвано Всеукраинское совещание книговедов. Проводилось оно под знаменем «Долой библиографов-энциклопедистов» (абсурдность этого «тезиса» не требует доказательств!), читались доклады «Классовая борьба на книговедческом фронте», «В атаку на буржуазное книговедение» и т.п.

И Софья Николаевна – в одиночестве! – бросилась в бой за Истину. Конечно, здесь все было запланировано заранее. Организаторы этого аутодафе рассчитывали на быстрый и триумфальный финал. Но их затея с треском провалилась.

«Если бы вы были немного образованным человеком, вы бы не говорили, что некого бить, что нет врагов, что мы их выдумали. Вы хотите усыпить нашу бдительность, а мы на это не пойдем», – обвиняли ее опричники от науки. Но уровень их знаний не шел ни в какое сравнение с глубиной знаний и широтой образованности – научной эрудицией Софьи Николаевны. И устроители потерпели фиаско.

<...> На совещании она опровергала нападки невежд, доказывала их непонимание и незнание азов марксизма. Но самой яркой частью ее выступления была оценка этого позорного, аморального совещания. «Здесь, слушая выступления, я вижу, что напали на людей, у которых уже снесена голова, которых здесь нет, которые обезоружены».

И называя пофамильно сидевших в президиуме и «правлящих бал», она бросила им в лицо уничтожающее обвинение: «Здесь вы шельмуете своих учителей, об ошибках которых вы десятилетиями молчали, были их почтительными учениками».

Каково же было заправилам совещания слушать эти гневные, позорные для них слова сорокасемилетней женщины! Слова, клеймящие их хамелеонство, невежество и лживость... (Все, касающееся совещания, взято из сохранившейся стенограммы.)

Приведем также давнюю, из 1931-го, историю, про ностальгию по «прежним временам»:

Но вот что было со мной в 1931-м году. Поехала я с Викой вместе в Москву и Ленинград. Еще [мамина подруга] Ева [Засецкая] была жива, и я у нее останавливалась [в Ленинграде], а билеты железнодорожные у нас были даровые.* И я ведь, и Зина на железной дороге служили. В Москве мы пошли с Викторией в Художественный театр. Рядом мест не достали, я сидела в партере, а Вика в бельэтаже.

В антракте Вика сошел ко мне и, смеясь, говорит: «Ты знаешь, около меня сидят две старушки и все время плачут». Взглянул на меня и с изумлением: «И ты тоже плачешь?!» Но, ты понимаешь, мы плакали над прошлым, которое уже никогда не вернется, над этими старыми усадьбами с вишневыми садами, с нелепыми людьми, ничего не понимающими в деньгах, непрактичными (из письма сестре В.Н. Ульяновой).

В том же году наша героиня ухитрилась пристроить «иждивенку» Алину Антоновну в дом отдыха под Киевом, в Мотовиловке по своей путевке:

Мы в 1931 году поехали с Викторией в Москву и Ленинград. Билеты у нас были даровые, мы же служили на железной дороге. Маму я устроила на свое место в дом отдыха. Тогда еще дома отдыха у нас были ужасные, человек по двадцать в одной комнате. Кроме того, все должны быть работающими. А кто же мама? Доктор думал, думал. Мама писала всё письма, доктор и написал, что мама – «писательница».

Мама там со всей этой шпаной подружилась, самые большие хулиганы с мамой в дружбе были. Мне тогда свою путевку уступила одна коммунистка, но нашли, что отдельная путевка для меня слишком жирно. И нам дали на двоих: полпутевки на [сотрудницу] Иванову, а полпутевки на меня, т.е. маму. Но когда кончилась мамина половинка путевки, ее там так полюбили, что ей уже дали одну настоящую, а когда и эта кончилась, до конца сезона оставалось уже недолго, и маме предложили жить до конца уже даром. Самый главный хулиган рекомендовал маму новой партии [отдыхающих]. Ты ведь знаешь, мама умела с самыми разными людьми ладить. Я тебе писала, как я стояла в очереди за мукой после войны. Стояли всякие бабы, оказалось, часть – молочницы, часть – прачки, которые у нас работали. Как стали они [покойную] маму вспоминать, какая она хорошая была, как все ее у нас в доме уважали, и тут же решили, что такая хорошая была мама, что я должна муку вне очереди получить.

А вот и отчет в Лозанну «про казенный отдых» в Мотовиловке под Киевом, из первых рук:

Милая Веруся. Вот я и в доме отдыха, но с погодой мне не повезло. Вот уже два дня, что идет проливной дождь с холодным ветром.

* Согласно уже неоднократно упоминавшемуся труду Н.П. Черепнина. «Императорское воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк (1764-1914)» в 1874 г. вместе с Алиной Антоновной Эрн были выпущены две сестры – Надежда и Евгения, дочери надворного советника Дмитрия Петровича Засецкого. Значит, ее подругу на самом деле звали Евгения, а Ева – это было милое институтское сокращение.

<...> Тут надо подчиняться известному режиму, как в институте или в больнице. А ты знаешь, что я не люблю никаких регламентов. В семь часов звонок – встать и идти мыться*, в восемь часов – завтрак. Но не дают, как мы привыкли дома – теплый кофе или чай, а сначала, например, селедка с огурцами или баклажанами или котлета или макароны с творогом или что-то другое, но все почти холодное, потому что расставлено уже к нашему приходу. А потом только обходят стол с большим чайником и наливают чай или кофе или какао, все уже смешанное с молоком и сахаром. Я индивидуалистка и вообще была всегда капризна насчет еды, а тут приходится есть все, что дают, раз цель моего приезда сюда – поправиться и отдохнуть, и за это платит по 3 р. в день. Еда вполне достаточная, но не по моему вкусу. В два часа обед, тоже из трех блюд, в четыре часа – кофе, чай или какао, а в полвосьмого ужин, после завтрака и обеда.

После обеда мертвый час, т.е. все должны ложиться спать или лежать в течение двух часов и не разговаривать. Это я очень приветствую, т.к. опять моя цель отдохнуть, да и разговаривать мне не о чем, т.к. я помещаюсь в комнате с шестью молодыми девушками, все, конечно, еврейки: не то студентки, не то приказчицы, не то фельдшерицы, и с одной пожилой женщиной типа уборщицы.

Барышни эти, которые обращаются друг к другу – «девочки» (как мы в институте [благородных девиц] – «mesdames») целый день стрекочут, регочут, разговаривая о «мальчиках», т.е. о мужчинах до сорока лет. Остальные – «дяди». Я, конечно, «бабушка», так меня давно уже называют все на улице и в очередях. Вообще мое появление здесь произвело сенсацию, потому что в дома отдыха ездят только служащие, а не их иждивенцы. И все меня спрашивают, на каком основании я здесь. И всем я отвечаю: это дочь мою, ввиду перегрузки и работы, не отпускают, а вместо нее приехала я.

<...> Надеюсь, и я поправлюсь по тем же причинам. А то я приехала с 49 кило веса, и доктор только головою качал. Когда я [в 1928 году] приехала в Лозанну, во мне было 57 килограммов, а когда уехала – то 63½, значит, на 16 фунтов больше. Если бы хоть наполовину прибавить, то и это было бы хорошо, а то я как скелет, на котором висит кожа. Видишь, я теперь очень гонюсь за поправкой.

Прежде, когда все так плохо шло, мне ужасно хотелось умереть от усталости и безвыходности положения. Но так как смерть не так легко и скоро приходит, и я вижу вокруг себя столько медленно и долго угасающих, которые являются страшной обузой для близких, то я уже предпочитаю жить и быть им полезной и самой – бодрой. Поэтому я не стесняю себя больше в еде: ем яйца, пью много кофе, которое меня подбодряет, покупаю бублики к нему, исходя из того принципа, чем количественнее, оно лучше усваивается и удовлетворяет. Ваши посылки для меня и всем нам – большая подмога, особенно жиры, главное, масло. Большую посылку из Парижа мы так до сих пор еще не получили, не знаю – почему. На чье имя она была выслана и что в ней? Надеюсь – кофе, потому что в Торгсине настоящего кофе в зернах нет. Я взяла молотый, но это ужасная гадость – один цикорий.**

* По-видимому, принимать лечебные ванны.

** Интересно сопоставить приглашенный, по-видимому, «перед границей» отчет Алины Антоновны с критическим материалом журналиста Зорича, опубликованным в «Правде». Мы процитируем по публикации «В нищете ли дело?», в берлинском «Руле» за 9 августа 1923 г.:

<...> Автор статьи бросает (в данном случае явно наркомому здравоохранения Семашке) в лицо такие обвинения как: «Десятки разгильдяев не могут сварить суп без грязи, вовремя почистить уборные, и собственную расхлябанность покрывают фразами о государственной нищете, не следует ли их категорически призвать к порядку?»

Как мы видим, советская торговля химичила даже в торгсиновских магазинах – подмешивала вместо кофе цикорий. Более поздние письма Алины Антоновны, которые больше касаются З.Н. и В.П. Некрасовых, мы приведем в следующем очерке.

В 1931-м С.Н. Мотовилова устроилась в Украинское геолого-разведочное управление (трест) или сокращенно УкрГРУ, из которого она, правда, была вскоре «вычищена» (хотя затем и восстановлена). Вот начало этой драматической истории:

Я с сегодняшнего дня перешла из отдела фондов работать в библиотеку, библиотекаря уезжает на два месяца работать в [геологическую] партию, а я должна ее заменить.

<...> Останусь ли я долго работать в УкрГРУ, не знаю. У нас идет чистка, и на меня взъелась вся администрация. Вначале нам все говорили, что все должны принять участие в чистке, все должны быть активны. Я и была несколько активна, т.е. очень деликатно и мягко задала нашему директору вопрос, который меня волнует с января.

У нас устроен был высший инженерно-геологический институт, срок учения в нем не то год, не то восемь месяцев. В него было принято всего 25 человек, людей без всякой подготовки, почти все полуграмотные, и им с места в карьер начали читать дифференциальное и интегральное исчисление и т.п., а они арифметики не знают.

Часть [учение] бросила, через два месяца еще новый набор сделали. Сейчас всех послали геологами или начальниками партий, а они ведь, в сущности, ни аза в глаза! Если из них десять человек выйдет, сколько-нибудь способных геологов – и то хорошо, а денег ухлопают на этот институт уйму. Поступила туда почти вся наша администрация. Вот я и осмелилась весьма робко и почтительно спросить, почему это так. Казалось бы, директор должен бы мне на это ответить. Увы! Ответа я не получила, зато на меня обрушились с всевозможной руганью. Я служу очень недолго, и никаких обвинений против меня быть не могло, но ...я была «активна».

Когда нападали на старого профессора, гидрогеолога, что он не справился со своей работой, когда ему дали 35 буругольных партий, я осмелилась сказать, что надо работу давать по специальности и помнить слова Ленина о создании товарищеской атмосферы для специалистов, потому что с профессором говорили ужасно грубо.

Окончание примечания

<...> “В [симферопольском] приемнике-распределителе много больных: все они рассылаются особой распределительной комиссией по различным курортам, без предварительного осмотра врачом. Корреспондента Зорича «определили» в Евпаторию. В Евпатории снова повезли в приемник”.

«Из приемника повезли в санаторию. В санатории в палатах висела по углам паутина, окна были тусклые, давно немытые, белье выдали желтое, застиранное. В огромную ванну для купанья налили одно ведро воды, нечем было грязь растереть дорожную».

Санаторские порядки рисуются в следующем виде.

“Раздражение усиливали «мелочи» санаторской жизни: питание, по количеству совершенно сносное, было изумительно невкусно, скверно по качеству. Продукты просто портились. Из кушаний ежедневно вылавливались пучки волос, обрывки рогожи, подсолнечная шелуха и т.п. нерастворимые примеси. Во всей санатории не было стакана кипяченой воды. Уборные, забытые, засоренные – распространяли вонь и заразу. Режим отсутствовал. Врачебной помощи, совета в иных случаях не было вовсе, в других он принимал уродливые формы – из четырех врачей двое оказались провинциальными венерологами; больному с костным туберкулезом, с обостренным процессом, прописали морские процедуры по 15 мин.; больной усомнился, пошел к частному опытному врачу, рассказал; врач отвел глаза: «Извините, но я не верю, такого назначения ветеринар лошади не сделает, это значит – калечить людей.

В санатории лежал опухший ревматик, с плохим сердцем. Ему вдруг стало худо. Вызвали дежурного врача. Врач осмотрел его, выслушал и, выходя, беспомощно, растерянно говорил сестре: «Ну, что ему дать? Камфару. Но камфара дается, кажется, когда здоровое сердце... А...”.

В результате пациенты уезжают, «потеряв здоровье отнюдь не по причине недостатка [государственных] средств».

Но грубость с ним была ничто по сравнению с грубостью со мной. Меня «чистили» четыре часа, и чего я только не наслушалась! У меня было немножко впечатление человека, на которого напала свора собак. Правда, это была только администрация и ее приспешники!

Курьезов много. Так, например, старика-архитектора, лет шестидесяти пяти, обвинили в том, что он иногда опаздывает на службу, хотя над своими проектами он может также работать дома, а у нас для него даже места нет.

Меня же обвинили в том, что я «по-чиновничьи» отношусь к своей работе: никогда не опаздываю и складываю свои вещи, когда прозвенит звонок об окончании [рабочего дня]. По-моему, это признак культурности и порядка.

Особенно ярился на меня директор, но я же зато его и отчитала. Кривляка, фразер примазавшийся, который все кричит, что он «старый большевик», «мы брали Перекоп» и тому подобные хлесткие фразы. Мне он сказал, что я «народоволка». Я заметила ему, что он не знает истории, ибо я родилась в 1881 г., а народовольцы действовали в 70-х годах, и «народоволкой» я никак быть не могла. Кончилось уже тем, что не на меня напали, а я яро напала на всю администрацию, к ужасу всех присутствующих. У нас все трусливы донельзя (из письма сестре в июле 1931-го)

С.Н. Мотовилова в переписке с И.Р. Классоном неоднократно возвращалась к истории «дела о вредительстве» в 1931 году. В ее воспоминаниях (см. Приложение) приводятся письма в «Правду» (отдел расследований), скопированные для В.Д. Бонч-Бруевича, который ей ни в чем так и не помог (как и «Правда»).

И вот ее реакция на «советы старого большевика»:

Мы сейчас читали с моим племянником Ваше письмо и оба рассмеялись от Вашего совета обратиться к [сотруднику «Правды» Михаилу] Кольцову [по поводу безобразий в УкрГРУ]. Год тому назад, когда все ужасы и безобразия творились на моих глазах, мой племянник, как и Вы, сказал: «Это надо передать Кольцову».

Он поехал сам в Москву, юноша он энергичный, но добиться видеть Кольцова оказалось невозможно.* Он передал все в отдел расследований «Правды». Я туда писала три раза, результата никакого.

<...> Странно, что Вы просите меня «быть настолько граждански мужественной». «Гражданского мужества» у меня хоть отбавляй, результат его – недаром я слепну от упадка питания, недаром голодает вся моя семья и слышу со всех сторон: «Сами виноваты. Охота Вам разоблачать. Один в поле не воин. Это донкихотство».

Неужели Вы думаете, я стала бы ждать чистки партии, чтоб попытаться вскрыть явные безобразия и беззакония! Конечно, нет. По поводу этого я писала дважды Надежде Константиновне, писала очень подробно. Мой племянник ездил в Москву и два раза был у Надежды Константиновны. И, как это ни странно, она ни звука не ответила, ни одним словом, ни одним звуком [не] высказала своего отношения к описываемым мною фактам. А перед ней стоял юноша, и ему полезно бы было услышать ее мнение (из писем В.Д. Бонч-Бруевичу в конце 1932-го).

В «Минувшем» история с «чисткой» в УкрГРУ была вообще выкинута, и поэтому повод визита Виктора Некрасова к Н.К. Крупской выглядел загадочно:

В 1931 году я послала к Крупской моего племянника с письмом, в котором просила ее поддержки. Его Надежда Константиновна встретила очень приветливо. Он был тогда юношей лет двадцати.

* Михаил Ефимович Фридлянд-Кольцов (1898-1940), очеркист, сотрудник «Правды», писатель. Между прочим, он, когда «Вика добивался видеть Кольцова», мог и отсутствовать в Москве, поскольку, как спецкор «Правды», часто ездил в командировки, в частности в 1932-м – точно в Берлин и в Париж. Другие места можно было бы установить по его газетным публикациям.

Она выслушала его внимательно, сказала, что помнит, что я «кипяtilка», всегда «кипячусь», и просила его, так как он ехал дальше в Ленинград, на обратном пути опять зайти к ней. Его, как и меня, она очаровала своей мягкостью и простотой.

«Новый мир» много чего выкинул из воспоминаний о Н.К. Крупской, не позволив тем самым очернить светлый образ «жены Ленина». С.Н. Мотовилова видела ее в последний раз, в дни работы XVII съезда партии в начале 1934-го. Тогда она уже была уволена из УкрГРУ и устроилась в Лингвистическом институте.

Вот как эта, очередная эпопея хлопот, теперь за «выкинутых» из Всенародной библиотеки Украины (будущей Библиотеки АН УССР, будущей Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского) начиналась:

<...> Я все еще волнуюсь из-за истории в ВБУ и этих 41 уволенных. До сих пор никто еще не восстановлен, но что особенно возмутительно – их заявления не хотят рассматривать или не дают брать другой работы. Что меня особенно возмущает, их лишили права читать в библиотеке.

<...> Я сейчас в отпуску, но никуда не поехала. Хотела очень поехать в Москву и тогда бы попыталась повидать Над. Конст-ну, но, увы, сижу без денег и все время волнуюсь из-за всяких библиотечных неполадок. Выкинули по чистке директора Всенародной библиотеки Украины (там, где я раньше работала), выкинуть его надо было, но взяли под подозрение весь его штат старых служащих, служивших там [от] десяти лет и больше.

<...> Никуда негодная комиссия, пересматривавшая это дело, появились лживые статьи в газетах. Вы поймите, какой это ужас, когда из крупнейшего книгохранилища выкидывают четыре десятка самых опытных и знающих работников! Среди них[, правда,] есть такие, которых надо убрать, но это единицы, а убрано много полезных, незаменимых работников. Ну, я, как умею, бью тревогу. Во-первых, конечно, написала Н. К-не, написала в наш (украинский) наркомпрос.

Будет ли результат – не знаю. Верю всегда в торжество правды, но трудно ужасно в запутанных наших условиях бороться. (из писем Н.А. Рубакину)

А вот как Софья Николаевна вспоминала эту историю через три десятилетия:

Во время 17-го съезда партии я приехала хлопотать о сорока четырех работниках библиотеки Академии наук, неправильно снятых с работы, как «враги народа». Звоню Крупской, которой раньше написала. Она назначает мне час, когда мы встретимся в Наркомпросе.

Во время 17-го съезда Крупская на службу не ездила, приезжала для меня. А кто-то в комнате, где я жила, говорит: «Это она обещает, а не приедет». Тогда я говорю ей [по телефону]: «Надежда Константиновна, вы, наверное, приедете?»

А она как-то уж очень печально говорит: «Наверно я ничего сказать не могу, я человек казенный». Но она приехала на свидание еще раньше меня, так что ее секретарша (отвратительная) набросилась на меня, что Н.К. уже ждет. Но я ничего не добилась, двое из этих снятых покончили самоубийством, а некоторые умерли. Развалена была работа, раз сняли лучших работников.

Потом оказалось, что те люди, которые их снимали, сами были вредителями. Их всех арестовали и сослали, а тех, которые были сняты, все-таки всех не восстановили, а тем, кого восстановили, даже не дали об этом знать! По радио кричали, что они «враги народа», а о восстановлении их по радио ничего не сказали. Ужасно у нас было много вредительства. И почему об этом писать нельзя?

Риторический, в общем-то, вопрос: большевики категорически запрещали критиковать свой несправедливый режим. Лишь верховный вождь, например Н.С. Хрущев, мог разоблачить, к примеру, культ личности уже умершего предыдущего вождя И.В. Джугашвили-Сталина. Да и то это было сделано в закрытом режиме среди «своих», т.е. партийных.

С.Н. Мотовилова неоднократно возвращалась к теме «чистки» в библиотеке Украинской академии наук: вот эпизоды с затравленной, честной беспартийной сотрудницей и с вороватой коммунисткой:

Я [была] знакома с Неонилой Васильевной Кравченко. Она работала со мной в библиотеке Академии наук. Очень талантливый был человек, окончила библиотечную аспирантуру, написала интересную статью о псевдонимах, которую очень хвалили (за границей, в библиотечном мире). Но ее столько преследовали, что сейчас она сошла с ума. Сперва ее выкинули из библиотеки за то, что ее отец был пономарь, псаломщик.

Правда, он умер, когда ей было всего восемь месяцев, влиять на нее [уже] не мог, и вообще это даже не церковное звание. Еще приписали, что она «шкурница». Она спросила председателя комиссии [по чистке], почему она «шкурница». Он спокойно ответил: «Это мы по ошибке написали, можно вычеркнуть».

<...> Повезло только одному из уволенных. Он был когда-то чем-то в Киевской духовной академии. Вдруг ему предложили стать не то архиереем, не то митрополитом! <...> Однажды он проявил мужество, когда еще служил [в библиотеке]. Был в ревизионной комиссии месткома и обнаружил, что самая главная коммунистка, она же глава месткома, отравлявшая всем жизнь, уперла какую-то большую сумму! Директор тогдашний спокойно сказал: «неосмотрительно заняла деньги». А вот на днях мне рассказали, что сейчас эта особа опять снята с работы за участие в какой-то уже совсем мошеннической истории в месткоме библиотеки, где она служила.

Наконец, самый последний эпизод, связанный с «чисткой» в библиотеке Украинской академии наук и разворовыванием книг:

И вдруг, в 1930-х я узнаю, что книги, которые, находятся в «камерах», так назывались склады, где лежали книги, взятые в квартирах бежавшей буржуазии, продают букинистам.

Очень много книг было иностранных, значит сотрудники, разбиравшие их, и особа, возглавлявшая этот разбор, были «бывшие люди», другие же не знали иностранных языков. Оказывается, во главе стояла бывшая институтка, жена расстрелянного офицера и мать двух белых офицеров, тоже убитых. У нас были общие знакомые, я знала, что она воровка. И вдруг узнаю, что она громадными партиями продает книги букинистам.

<...> Я пошла к директору библиотеки (уже много отрицательного зная о нем). Но, придя к нему, сказала, что все-таки не думаю, чтоб он спокойно мог отнестись к тому, что расхищается та библиотека, во главе которой он стоит. Я рассказала, что слышала. Он спокойно ответил: «Я это знаю. Такая-то, он назвал ее, снята с этого места и переведена на другую работу». Я спросила: «На какую работу?».

Оказалось, она теперь выдает книги на дом. Книги выдавались тогда только «академикам», сотрудникам Академии наук ну и библиотеки, конечно. Я с ужасом сказала: «Но сколько же книг она может накрасть!». Директор библиотеки спокойно ответил: «Ну, много ли книг она может вынести под мышкой». Я конечно книги брать перестала (хотя имела на это право), боясь иметь контакт с ней. Но моя знакомая, работавшая там, была уволена как «враг народа». Ее попросили написать статью в стенгазету. Она написала критическую статью на новых сотрудников. Статью не поместили, а библиотекаря эту сейчас же выкинули из профсоюза и уволили из библиотеки.

<...> Моя знакомая, уволенная, прекрасный работник, знала хорошо языки, и ее всюду охотно брали на службу, но из библиотеки Академии наук поступали доносы, что она «враг народа», и перепуганное начальство ее увольняло. Это был морально чистый, прекрасный человек, глубоко убежденный, что при советской власти должно быть все хорошо и можно всегда добиться правды.

И вот итог этой печальной истории:

Честный советский работник был объявлен «врагом народа», а бывшая институтка процветала в библиотеке, она только переменяла фамилию. Вдруг появился приказ по библиотеке: «такую-то (ее бывшая фамилия) считать такой-то (новая фамилия). Директор – мой «положительный герой», был с ней в большой дружбе, и она всем с гордостью рассказывала, что все лето провела на даче «у директора». Не знаю, жива ли она. Она рассказывала одной моей знакомой, что мой «положительный герой» говорил про меня, что я сумасшедшая. Он был сослан в 1937 году, и в этот год была сослана почти вся та банда, которая в 1933 году выгнала сорока двух служащих.

Что же Вы думаете, все те, которых теперь восстановили, были безупречны? Но в чем же во всем этом мое «сумасшествие» и «идиотизм»? Да, часть моих сотрудников по Совету рабочих и крестьянских депутатов сделала блестящие карьеры. Кто стал зам наркома, кто полпредом, кто потом посланником и министром. Ну, я-то, конечно, карьеры не сделала. А были они все мерзавцы.

<...> Когда я встретила в Москве с Н.К. [в 1934-м], то из ее воспоминаний узнала, что в доме у тети Сони, у Классонов она познакомилась с Лениным, и припомнила ей еще всех наших общих знакомых, их было очень много. В те годы Надежда Константиновна получала по 400 писем в день, две секретарши сидели и разбирали их. Н.К. не могла так реагировать на все дела, как я хотела. И, кроме того, ведь ей вероятно из Киева писали черт знает что – все мои клеветники.

А вот воспоминания ей были приятны и интересны. Я дала ей бумаги, чтоб она передала их Марии Ильиничне Ульяновой, стоявшей во главе Бюро жалоб*. Как-то так это называлось. Жуткое было учреждение. Толку из моих просьб к Н.К. никогда не выходило. Она была очень хороший, очень мягкий, но не настойчивый человек.

<...> Она взяла тогда мой адрес. Я ей сказала: «Да вы же ни разу не ответили, ни на одно мое письмо!». Она сердито ответила: «А теперь напишу». Но я никогда от нее ничего не получила. Была у меня только записка от нее о моей работе с ней в 1918-м. Она дала ее моему племяннику. Но записка эта сгорела.

Отметим здесь, что содержание сгоревшей записки сохранилось, будучи переписанным в дневник: «В 1918 году Софья Николаевна Мотовилова работала во Внешкольном отделе Наркомпроса, помогая, как знающий библиотекарь, в налаживании соответствующей работы. 22/XII-31 Н. Крупская».

В апреле 1934-го наша героиня увековечила еще ряд эпизодов в летописи «большевицкой вакханалии»:

Авось письма, получаемые Вами [от меня], пойдут в какие-нибудь архивы и послужат материалом для будущего историка типа [французского] Тэна, по частным письмам старающегося восстановить то, что происходило в первые годы после революции. <...> Н.К. я [в начале года, во время 17-го съезда ВКП(б),] видела, беседовала с ней, она как будто внимательно слушала меня, изумила меня тем, что вспомнила, что я ей говорила семнадцать лет тому назад, взяла мой адрес – и Московский, и Киевский, но результата от моего разговора никакого. А между тем я два года бью тревогу о засоренности Киевской партийной организации, и разве все не подтверждается?

* Бюро жалоб Центральной контрольной комиссии – Наркомата рабоче-крестьянской инспекции.

И почему я, человек не партийный, возмущаюсь, негодую, болею душой за наше советское строительство – а партийцы молчат? Ну, разве не позор то, что у нас сейчас вскрывается в Киеве? Весь город говорит об арестах видных партийцев, до служащих ГПУ включительно. Конечно, очень много слухов преувеличенных, но уже и слухи, и разговоры характерны. Упорно, например, держался слух, что арестован Демченко*.

Оказывается, неправда, но арестован ведь секретарь [Киевского] Исполкома, человек с орденом Ленина. А человек этот оказался запутан в каких-то воровских историях и стоял, как говорят, во главе тройки по уплотнению Киева в связи с переездом столицы [из Харькова]. И что за вакханалия тут творится! Жители Киева делятся на тех, которые «уже выкинуты», и тех «которые еще не выкинуты». Я пока еще отношусь к последним, но уже не живу, а агонизирую, агонизируют так все дома в Киеве.

Под видом уплотнения идет, должно быть, жуткая спекуляция комнатами. Недавно я иду по улице и слышу разговор двух толстых типов в кожаных куртках: «Ну что же, продадим еще одну комнату за 10 тысяч...». Продолжения [разговора] я не слышала. Под видом уплотнения сводят личные счета, управдомы и домоуправления хозяйничают вовсю. Ведь стоило объявить, что переезды запрещены, и ночью и вечером стали переезжать без конца. Совершенно чужих людей суют в одну комнату, две семьи в одну комнату. Чуть ли не все мои знакомые или дико уплотнены или выкинуты!

<...> Когда стало известно, что переезжает сюда [украинское] правительство, мне все говорили: «Теперь вам (т.е. мне!) будет хорошо». И в Москве говорили: «Ну, у вас будет столица, у вас будет хорошо». И Надежда Константиновна мне это сказала. Я промолчала, я знала, что население Киева с ужасом съезжилось и ждало – что-то будет. И началось...

<...> Учреждение, в котором я работала [(в Лингвистическом институте)], уезжает в Харьков, я уже без службы. Т.е. подала [заявление] в другое место, авось зачислят. Берешь что попало, ибо ведь «безработных у нас нет», и, значит, стоит остаться без службы и ты уже буржуй! Но это все ничего, а вот [жил]площадь... Из-за [жил]площади я отказалась от работы гораздо для меня более интересной в Москве, а теперь и тут... Мы живем в этой квартире с 1915 года, когда моя семья вернулась из Парижа. Пережили всевозможные правительства, все уплотнения, выкидачки, произвол. И вот семнадцатый год революции, казалось бы, тихо можно жить, не боясь уж ничего произвола. <...> И вот каждый день я слышу: «Вас еще не выкинули?» Разве так можно жить? (из писем В.Д. Бонч-Бруевичу)

В июне того же года С.Н. Мотовилова пыталась торговаться с В.Д. Бонч-Бруевичем за билет на предстоящий съезд писателей:

<...> Теперь самая главная моя просьба. Достаньте мне, пожалуйста, билет – входной, гостевой, какой угодно, на съезд писателей, мне очень бы хотелось на него попасть. Я уже не надеюсь, что Вы из любезности это сделаете, поэтому решила торговаться с Вами. За то, что Вы мне достанете этот билет, я Вам дам для Литературного Музея единственное у меня письмо Короленки. Письмо – от 2 июня 1896 года. Это ответ мне на мой вопрос, что читать для крестьян. Когда-то, еще девочкой я думала устроить в деревне такие чтения. Значит, письмо привезу сама и отдам Вам по окончании съезда.

Как станет понятно из дальнейшей переписки, «самую главную просьбу» «старый большевик» опять не выполнил.

* По-видимому, речь шла о первом секретаре Киевского обкома ВКП(б), на тот момент, Николае Нестеровиче Демченко. Будет расстрелян «лишь» в 1937-м, в ранге наркома зерновых и животноводческих совхозов СССР.

В сентябре-октябре наша героиня в письмах В.Д. Бонч-Бруевичу продолжала разворачивать летопись большевистских идиотизмов:

Я таки была в Москве на съезде писателей. Билет себе достала с трудом, но все-таки достала. К сожалению, не смогла пробыть с начала до конца съезда. Новый директор того института, где я сейчас работаю, человек малокультурный и, по-видимому, тупой бюрократ, не согласился мне дать отпуск на месяц, как я просила, даже без сохранения содержания. Уперся: я, де, работаю здесь всего четыре месяца и, хотя не пользовалась отпуском в предыдущем учреждении, но оно, де, нам не «родственное», а посему права на отпуск по совокупности службы я не имею. Тупость бюрократическая на каждом шагу! Объясни такому тупице, что съезд писателей – явление из ряда вон выдающееся, что для учреждения выгоднее всего, чтоб я сейчас ушла в отпуск, так как большая часть научных работников сейчас в отпуску, а я их обслуживаю, как библиограф. Понимает, но вот мне – закон!

От кого мы только не зависим и какие мы жутко бесправные люди. Я вернулась к сроку, ибо боялась, что лишусь службы, отнимут комнату. А без «площади», как жить?! Я уже писала Вам, что у нас в Киеве, в смысле уплотнения, что-то жуткое творилось. Вот сестру-врача, часто работающую на эпидемиях, ее сына-архитектора и мою мать, всех упихали в одну комнату!

Кажется, это называется улучшением быта трудящихся?! Во всяком случае, на этом «улучшении быта» много спекулянтов нажилось, торговали комнатами.

Съезд мне был, конечно, очень интересен – явление историческое, и мне хотелось все видеть конкретно. Но не буду Вам писать о своих впечатлениях, их много и они сложны.

Автор лелеет надежду, что ознакомившись с «большевистскими экспериментами» над живыми людьми (см. заодно главку «О жизни «в стране большевиков»» в Приложении «Литературные труды С.Н. Мотовиловой»), нынешнее молодое поколение получит хоть какое-нибудь отвращение к коммунистическому или к любому другому, навязанному сверху «строительству нового мира».

Дадим здесь обстоятельства того, как наша героиня смогла проникнуть на закрытое для «простой публики» столичное мероприятие и какие вынесла из него впечатления:

<...> Это Федин достал мне билет на первый съезд писателей в 1934-м году. Большинство писателей тогда были злыми, скучными: Вересаев, Ценский, Чуковский. Я тогда их много перевидала, так как не сразу получила билет от Фебина. Вересаев, Ценский зло говорили: «Это не наш съезд». Ну, а Федин, он, кажется, входил в правление съезда или что-то такое, был молод, весел, молодой блондин.

<...> В 1934 году я попала на первый съезд писателей. На здании бывшего Благородного собрания (теперь говорят: Колонный зал Дома Советов) висели, на красном кумаче, два плаката. Один – изречение Горького, другой – изречение Ленина.

На третий день прихожу, висят уже три плаката. Посередине – изречение Сталина, по бокам – Горького и Ленина. На картинах вообще изображалось так: Ленин вопросительно смотрит на Сталина. Ну, причем тут «культ личности»? Подхалимство [это] и все! <...> Вересаев говорил: «Это не наш съезд». Это же говорил и Ценский.

<...> Ты знаешь, когда я была на первом съезде писателей в 1934 году, внутри здания устроили три заграждения. Всяк сверчок знай свой шесток. Одни писатели имели право пройти в президиум. Другие – только в первый круг и т.д. Мой билет находился у Фебина, он был в составе президиума и так затуркался, что забыл отдать мне билет. Пройти я никак не могла. Один раз мне дали билет в Обществе старых большевиков, на одно заседание.

В другой раз меня зайцем провел Сергеев-Ценский. Это устроила его жена. Сперва они прошли вдвоем. Потом он вышел, будто бы купить папиросы, и дал мне билет жены. Я прошла первое заграждение, жена [Сергеева-Ценского] стояла у раздевалки. Покуда я раздевалась, она прошла наверх. Ценский опять спустился, дал мне ее билет – я прошла второе заграждение.

Но в зал-то все равно по одному билету не пройдешь. Она пошла на риск. Обняла меня и весело говорит «заградителю», милиционеру, чекисту (не знаю): «У нее билет наверху, но я хочу, чтоб она была с нами!» Он любезно улыбнулся, билета у меня не спросил, и мы прошли в зал. Она сердито мне говорит: «В антракте не выходите, а то ведь обратно не попадете».

<...> [На другой день] я стояла в толпе у входа, среди молодежи, как и я жаждущей попасть на съезд. Посылала со всеми писателями записки Федину, чтоб он вынес мне билет. Он [все] не выходил. Ко мне подходит один из нижних «заградителей» (кто, не знаю – милиционер, чекист?) и говорит: «Гражданка, я вас наблюдаю несколько дней. Если вы сейчас же не уйдете, вы попадете туда, куда вы попасть не хотите!»

Вот тебе на! Пишу [очередную] записку Федину: «Если вы сейчас же не вынесете мне билет, меня арестуют». Он вылетел с билетом, тогда еще молодой, веселый блондин, таким он мне на всю жизнь и запомнился.

<...> Чуковский мне рассказывал тогда же в 1934 году, что Зощенко хотел к кому-то пройти в президиум, и его не пустили! Всяк сверчок знай свой шесток! Нда! <...> Во время первого съезда писателей, как рассказывал мне Чуковский (сам он не пьет), они возвращались вечером на четвереньках. <...> На первом конгрессе Советских Писателей Чуковский мне все повторял: «Какой же это съезд писателей, где нет ни Ахматовой, ни Мандельштама?». (из писем сестре В.Н. Ульяновой)

В марте 1935-го С.Н. Мотовилова, получая грубые письма от «высокопоставленного большевика», скорее – коммунистического барина В.Д. Бонч-Бруевича, достигла в ответах ему почти сатирических высот М.Е. Салтыкова-Щедрина (но в коммунистической действительности), и на этом их переписка оборвалась:

Сейчас получила Ваше письмо и крайне возмущена. Для меня Вы были не покупатель – директор музея, старающийся за минимальную сумму приобрести побольше всяких вещей для музея и заплатить попозже. В моих глазах, Вы были ответственный коммунист, старый большевик, друг Ленина, идейный человек, который, естественно, должен реагировать на все то, что происходит у нас в нашем строе, который должен чувствовать себя ответственным за то, что у нас творится, который должен понимать, что сделать переворот было не все, а надо сознательно, внимательно бороться против той гнили, гадости, бесправия, которой у нас еще так много.

Я писала Вам об ужасах, которые у нас творились на Украине в 33 г., и Вы брезгливо отмахивались. <...> Конечно, не Вы один такой, а таковы приблизительно все. Каждый говорит: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

<...> Вы просите не писать Вам жалоб. Вы стараетесь охранить свой покой. Я Вам поэтому раз двадцать писала, что я не для Вас пишу. Я надеюсь, что мои письма сохранятся у Вас, что они останутся для будущих поколений, что эта атмосфера ужаса, произвола, бесправия, беззакония, которая царит у нас, о которой редко-редко проскользнет что-либо в газетах, запечатлится в моих письмах.

Да, я, конечно, хотела бы, чтоб Вы на них реагировали, как должен, по-моему, реагировать настоящий, идейный коммунист, но я уже за два или три года переписки с Вами знаю, что это совершенно бесполезно. Вы писали мне про Короленку, что он, де, был «импотент». Вы меня извините, но это слово я могу применить ко всем почти, коих я знаю, коммунистам, так сказать, идейным.

<...> Сейчас получила Ваше письмо от 23 марта, где Вы пишете, что мои письма «развязны» и что мое отношение к Вашему музею «возмутительно, некорректно и отталкивающее». <...> Не думаете ли Вы, что нам, действительно, лучше прекратить нашу переписку? Я считаю, что тон Ваших писем становится не только груб, но и нагл. Скажите, какое право Вы имеете требовать от меня письмо Короленки? А Вы, вероятно, раз десять писали мне о нем. <...>

Предвоенные годы выживания Мотовиловых мы отразим также через письма Алины Антоновны в Лозанну (естественно, что к ним мы будем обращаться и в очерке «Виктор Некрасов в разных измерениях»):

Над нами, как и над многими гражданами советского союза, сотряслись беды. Закрывается Торгсин, и книжки на него выдаются только до 15 декабря этого года, и в феврале прекращается и торговля в торгсиновских магазинах <...>. Сколько бедных евреев, которым их родственники высылали из Америки, останутся теперь без поддержки. К их числу принадлежу, к сожалению, и я. Так хорошо было придти в Торгсин и сразу купить все, что нужно, как из съестного, так и мануфактуры. Впрочем, мы покупали, главным образом, провизию, донашивая свои старые вещи до дыр.

И только что я решила теперь из каждой полочки покупать, по крайней мере, по две простыни и необходимого белья, как вдруг читаем в газетах это извещение. Конечно, я каждый месяц могла ждать прекращения посылок от [своей швейцарской подруги] M-Ile Broye и даже сама от них отказаться, о чем я и писала ей несколько раз. Но она всегда уверяла меня, что эти 50 [швейцарских] франков большого ущерба ей для ее бюджета не составляют и что она счастлива, что может чем-нибудь скрасить мою старость, не подозревая даже, как много это для меня составляло – почти столько же зарабатывали наши все вместе.

<...> Теперь я обращаюсь к Вам с большой просьбой, Николай Алексеевич. Я как-то спрашивала уже Вас или Веру, как обстоит с этой помощью. Приходит ли M-Ile Broye каждый раз и дает Вам эти 50 фр. или сразу вручила Вам известную сумму, чтобы Вы ежемесячно ее мне пересылали, что Вы с присущей Вам аккуратностью исполняли и этим летом даже очень выручали меня, выслав за два месяца вперед. Если это было бы возможно, я бы очень просила Вас выслать немедленно столько, сколько возможно, чтобы я могла до закрытия Торгсина закупить себе белья и вещей, в которых я нуждаюсь. Что касается до съедобных вещей, т.е. провизии, то мы уж будем справляться как-нибудь сами, тем более что продукты значительно подешевели.

Очень обяжете меня, если исполните эту мою просьбу возможно скорее, так как времени до 15 декабря, последнего дня выдачи книжек, осталось очень мало. (из письма за ноябрь 1935-го)

Дорогая моя Верусенька и Николай Алексеевич.

Письмо твое, Вера, я получила еще на даче [под Киевом] с большими трудностями, т.к. некому было его получить на почте.

<...> В городе невозможно было жить, и я счастлива, что провела эти месяцы в лесу, несмотря на очень примитивные условия жизни. <...> Приехала к нам Верочка [Пятницкая из Москвы], и вместо того, чтобы с нею погулять и показать красоты нашей новой столицы и полюбоваться всегдашними чудесными видами Киева, пришлось бегать по ломбардам и знакомым в поисках денег. Прошли счастливые времена Торгсина, когда ломбарды были совсем забыты. Да и неприятно было это добывание денег в ее присутствии, как будто вызванное ее приездом, но что делать, когда так совпало. Выручил немного виноград, привезенный Зиной из Анапы (Кавказ).

<...> У нас уже наступила настоящая осень, с дождями и серыми днями и осенней тоской. Зина и Соня подрабатывают теперь и по вечерам и приходят усталые.

<...> Теперь хочу Вам написать еще о тех 150 франках, которые оставила у Вас M-Ile Broue. Пересылать их сюда переводом очень обидно, т.к. при нынешнем курсе это будет очень мало и купить на них что-либо очень трудно, т.к. товару не хватает на теперешний спрос. Теперь и вся деревня, и рабочие бросились на мануфактуру и обувь, и надо днями простаивать в очереди, чтобы что-нибудь купить.

Я уже не в силах это делать. Даже на базары больше не хожу, боясь быть там за толканной и примятой. Наши свободны только по выходным дням, когда и проникнуть в магазины нельзя. Между тем, мы все обносились и иногда и выйти не в чем. Мы с Зиной носим вместе тот Линин бежевый ватерпруф*, который я в 28-м году привезла из Лозанны. И когда Зина в нем уходит на службу, то я выхожу в Викином непромокаемом.

А Соня все еще носит твое зимнее пальто, перевернутое уже несколько раз. Можешь себе представить, в какой вид оно пришло после восьми лет, да и ты его уже много носила до тех пор.

<...> Мое плюшевое пальто совсем уже вытерлось и такое невероятно тяжелое. Оно ведь было куплено еще в Петербурге и от переделок так потяжелело. Да и вообще обидно, что у тебя там лежат такие полезные для нас вещи, а тут надеть нечего. Поэтому я и просила тебя переслать их мне, а деньги, 150 франков, употребить на пересылку и пошлину, если их хватит. Я понимаю, что это все очень сложно и утомительно для тебя, тем более что это не в Лозанне, а в одном из больших центров, где есть советское торгпредство.

Но ты или Николай Алексеевич там бываете или в Париже. Захватите хоть часть вещей, одно или два пальто, которые получше, и пошлите их с уплаченной пошлиной, если на это хватит тех 150 франков. Кто-нибудь из твоих практичных друзей тебе может быть поможет в этом деле. (из письма без даты, предположительно, начало осени 1936-го)

Дорогие мои Верусенька и Николай Алексеевич.

<...> Теперь спешу успокоить Вас, что ничего опасного у меня нет. Сделалось просто кровоизлияние в левый глаз, от которого я не совсем ослепла, но вижу наполовину хуже чем правым. Произошло это оттого, что я от скуки вздумала починить Сонину рваную шубу, которую она почти не снимает, стоя целыми днями за покупками. А тут у нас закрыли электричество для экономии энергии. Я думала, что это только у нас в Киеве так делается – потому что мы живем в индустриальном районе, потому что другие улицы, даже большинство, не освещены как всегда. Но оказывается, что и в других городах то же самое делается.

Словом, я хотела воспользоваться этим моментом *entre chien et loup* [(между собакой и волком)], когда Соня давала свой урок английского и в шубе не нуждалась, чтобы живенько починить ее изъяны.

И вот на другой день сделалось это кровоизлияние. Да еще неизвестно, от того ли. Я вообще себя плохо чувствую от этих ужасных морозов. Ведь собственно и удар-то у меня в прошлом году сделался от сильных морозов. Летом я значительно поправилась, а теперь опять сильно волочу ногу и вообще плохо себя чувствую, потому что не гуляю из-за сильных морозов. Кроме того, из-за отсутствия электричества и лифт не ходит, а мы живем на пятом этаже. Не решаемся даже и профессора позвать, из-за отсутствия света и электричества, и вот сижу и скучаю. А чинки набралось столько, что до лета хватит. Сидеть же сложа руки совсем не могу: засыпаю.

Читать тоже днем нельзя, а свет зажигается только-только в 10 час ночи. Писать мне тоже не разрешают. <...> (из письма без даты, предположительно, зима 1938 г.)

* От waterproof – непромокаемый плащ.

Дорогие мои Верусенька и Николай Алексеевич.

<...> Подумайте, всего 10 октября, а у нас выпал уже обильный и не тающий снег, который шел два дня и совсем заморозил нашу квартиру, которую домоуправление не только не думает еще отоплять, но даже и уголь еще не привезли. Такая халатность. На дворе температура 0-2⁰, а в квартире – 0,3⁰! Хорошо, что благодаря прошлогоднему Викиному подарку нам на электрофикацию, мы имеем почти все приспособления, чтобы готовить у себя в квартире и не ходить в ненавистную нам кухню, где толчется пять семей, кроме нашей: смрад, теснота, толкотня и перебранка! Правда, смрад от готовления у нас в квартире тоже неизбежен, но зато мы у себя и в тепле. Имеем чайник, утюг и даже грелку для обогрева комнаты. Но при таком холоде никак не можем достигнуть больше +3⁰. А когда по вечерам почему-либо тухнет электричество, к несчастью, преимущественно в нашем районе, то уже никакие приспособления не помогут. Вот как раз в эти дни, почти каждый вечер, часа на два-три оно выключается, мы сидим при керосиновых лампах и свечах. (из письма за октябрь 1939-го)

Дорогие мои Веруся и Николай Алексеевич.

<...> А теперь нам очень трудно. Соне все же тяжело справляться одной без [домработницы] Моти. Зине со своей часовой службой, которая очень далеко от дома, надо вставать очень рано – в семь часов, чтобы попасть к девяти часам. Трамвай обыкновенно перегружен, осень была дождливая. За опоздание [медицинские работники] платили штрафы и за повторные – увольняли со службы.

Она встает в семь часов, готовит себе завтрак, Соня стоит на базаре, а я лежу в постели, т.к. мне запрещено вставать без надзора, после того как я один раз встала и, споткнувшись, упала, и расшибла себе голову. Вот я, обыкновенно, и лежу, пока Соня с базара не придет.

<...> Пока еще был дома Вика, было легче. Соня в четыре часа утра уходила на базар за [подсолнечным] маслом и другими продуктами, т.к. с объявлением войны продуктов стало, конечно, меньше, особенно чувствительно было отсутствие сахара. Но, слава Богу, теперь уже все наладилось и нет такой необходимости вставать так рано, чтобы что-нибудь достать. Да и Вика, проездом через Москву, прислал нам несколько кило масла и сахару. Даже сахару можно было совсем не присылать, т.к. он у нас появился в большом количестве и без всякой очереди. Так что Соне стало легче. Надо же и за мною ухаживать, и обед готовить, и комнаты убирать, и купить кое-что. А как Вика уехал, то совершенно некому со мной посидеть или подать мне что-нибудь. Недавно я, сойдя с постели в отсутствие Сони, поскользнулась и так расшибла себе голову, что долго была в темноте, а потом – с подтеками под глазами.

<...> Последнее время Мотя у нас получала 100 р. в месяц за все. Теперь же нельзя ни за какую цену найти кого-нибудь порядочного – ухаживать за больною. Каждая предпочитает служить на производстве или попросту спекулировать. Время такое.

Можешь себе представить, как нам трудно стало, когда уехал Вика, который все в доме делал: и уборку, и с постели меня подымал, и одеваться помогал, и постель застилал, и завтрак готовил, пока Соня с базара придет.

О Зине я не говорю. Она встает в семь часов. Сама готовит себе завтрак и спешит на службу, т.к. если опоздает, может лишиться места. А трамваи так переполнены, что надо заранее выезжать, чтобы добиться места. Вообще, Зину мы совсем почти не видим. Только в выходные дни, а тогда она высыпается за свои пять [рабочих] дней и спит до двенадцати часов дня. Купить себе она ничего не может, т.к. в выходные дни все магазины битком набиты. (из писем за ноябрь 1939-го)

Во время войны С.Н. Мотовилова со своей сестрой и мамой осталась в Киеве (племянник, как известно, воевал). Это отдельная, трагическая тема, которую мы здесь подробно по разным причинам затронуть не сможем. Но в послевоенных письмах нашей героини она, естественно, периодически возникала. Единственно, что мы хотели бы здесь зафиксировать: нашей героине при поисках новой работы наверняка приходилось отвечать «да» на омерзительный вопрос советской анкеты: «Находились ли вы во время Великой Отечественной войны на территории, временно оккупированной противником».

Вопрос был омерзительным потому, что в утвердительном ответе на него никакой вины С.Н. Мотовиловой, ее родственников и, вообще, простого народа не было, а был виноват, прежде всего, верховный главнокомандующий (или как он там обозначался в первые месяцы войны – председатель ГКО?) И.В. Джугашвили-Сталин, который бездарно сдал этому самому противнику Киев (как и многие другие советские города, поселки и деревни) и не только сдал, но и приказал многие здания заминировать! Но этот утвердительный ответ автоматически превращал всех выживших в Киеве под немецкой оккупацией в граждан второго сорта, после возвращения большевиков.

Из писем И.Р. Классону:

Как только я выучила немного [немецкий язык], купила себе в Веймаре полное собрание сочинений Шиллера. Но и оно, конечно, сгорело, как все книги нашего с Вами прадеда Флориани. Voltaire, Rousseau, Helvétius [(Вольтер, Руссо, Гельвеций)] с массой чудесных гравюр. При немецкой оккупации я продавала гравюры из коллекции [погибшего в гражданскую войну] Зининого старшего сына. Немцы охотно покупали.

<...> За день до прихода наших войск в Киев [в 1943 г.] немцы сожгли дом, где мы жили двадцать восемь лет. Для меня это большая утрата. У нас был свой дом, со своими традициями, со старинной мебелью, привезенной из бабушкиного имения [Солоновщина], с массой всяких сувениров, старинных вещей. Нас все уплотняли и уплотняли, в конце концов мы жили уже в двух комнатах, но вся обстановка была та же, те же старинные акварели, гардеровский фарфор и т.д. Сгорел и весь мой архив, где была переписка с несколькими писателями, и с моими друзьями – первыми большевиками, то есть со 2-го съезда партии [в 1903 г.]. Очень мне это грустно.

<...> Я всегда хранила все письма. У меня был громадный архив. [В.Д.] Бонч-Бруевич много раз упрашивал меня передать его в Литературный музей целиком. Он хорошо знал и Ногина, и Андропова, и понимал значение их писем. Но мне же неудобно было передавать при жизни Андропова. Ну и все. Вика тогда еще не стал писателем, но Вы подумайте, какой бы это был ценный материал для его будущей биографии! Если он сейчас уже есть в энциклопедии, то, конечно, и биография его будет. А у меня были все мамыны письма за всю жизнь, а мама изумительно хорошо писала письма. Ну, все сгорело!

*<...> В той квартире, которую немцы сожгли, мама и Зина жили двадцать восемь лет, а в той комнате, где теперь обитаю, я уже живу с 1943 года, когда из той квартиры нас выгнали немцы. Они хотели взорвать весь центр Киева, а перед этим грабили. <...>Я ненавижу колониализм, ненавижу, ибо два года жила под немецкой оккупацией, и всюду были надписи «nur für Deutsche» [(«только для немцев»)]. Постоянное сознание, что ты человек второго сорта. Люди 1-го сорта имели право на электрическое освещение, отопление и прочее, а мы, люди 2-го сорта, всего этого были лишены.**

* Конечно, немцы вели себя как завоеватели, да еще у них была разработана программа по резкому сокращению (ликвидации) советского населения на оккупированных территориях. Но, как выясняется только в последнее время, большевикам, по сути, тоже было глубоко наплевать на не сумевших эвакуироваться советских граждан и не только наплевать... Уходя из Киева, они заложили во многие общественные здания радиомины и использовали еще более мерзкие способы разрушения города.

А вот про какие ужасы можно было узнать из писем сестре В.Н. Ульяновой* :

<...> Эти годы немецкой оккупации были самыми ужасными в нашей жизни. Вот когда я поняла (раньше об этом не думала), что такое колониализм! Всюду надписи «Nur für Deutsche». При этом страшный голод, ни отопления, ни света, вообще ужас. Большая мама, Вика где-то на фронте, о нем ничего не знали. Письмо от тебя, где ты сообщила, что он с фронта написал тебе, к сожалению, пришло только после смерти мамы. А она бы так рада была узнать, что Вика жив.

Окончание примечания

Из донесения начальника полиции Киева от 28 сентября 1941 года в Берлин: «Наши войска, вошедшие в город, нашли бывший царский дворец полностью разрушенным. 20 сентября была взорвана крепость. 24 сентября прозвучали мощные взрывы в расположении комендатуры, возникший пожар погасить не удалось. Взрывы продолжаются. Горит центр города. Разрушены очень ценные здания. Возникают новые пожары. Борьба с огнем практически не дала результатов. Нами произведены направленные взрывы, чтобы не допустить распространения огня. До настоящего времени обнаружено 670 мин, заложенных согласно найденному плану минирования. Все общественные здания и площади города заминированы. В доме, предназначенном для использования под нашу канцелярию (бывший Октябрьский дворец. – Авт.), обнаружены 60 бутылок с «коктейлем Молотова», в Музее Ленина – 3500 килограммов динамита, который предполагалось взорвать сигналом по радио. Доказано, что ведущая роль в этом принадлежит евреям. Начальник гарнизона требует провести публичную казнь 20 евреев». Согласно донесению, отправленному спустя несколько дней, 29 и 30 сентября в Киеве «ликвидировано» 33 770 евреев. После этого почти каждый день вывешивались объявления коменданта города, сообщавшие о казнях «комиссаров и националистов». Вот текст одного из таких объявлений от 2 ноября 1941 года: «Сегодня 300 жителей Киева расстреляно. За каждый новый случай поджога или саботажа будет расстреливаться значительно большее число жителей Киева. Комендант города генерал-майор Эбергард».

Вряд ли подлежит сомнению то, что теракты в Киеве лишь подтолкнули нацистов к началу массового уничтожения мирных граждан в городе. Ведь чуть раньше именно так отреагировал Гитлер на развернутую против его армии партизанскую борьбу. Из протокола встречи фюрера с руководителями рейха 16 июля 1941 года: «Русские отдали приказ вести партизанскую войну по нашу сторону фронта. Эта война выгодна нам, поскольку позволяет уничтожить всех, кто противостоит новому порядку».

Знал ли Сталин о том, какая участь ждет жителей Киева за организованные советскими диверсионными группами взрывы и поджоги в городе? Конечно, знал. Это был дьявольский расчет: спровоцировав гитлеровцев на расправу над мирными жителями, не допустить роста национального антибольшевистского движения на Украине. Советская пропаганда твердила: за взрывами и пожарами в центре Киева стоял Гитлер. Гитлеровская утверждала, что это сделал Сталин.

<...> Система уничтожения Киева была организована так: радиомины на Крещатике подрывались по радиосигналу вначале из Харькова, затем из Воронежа через систему ретрансляторов радиостанции имени Коминтерна. Эти взрывы должны были послужить командой к началу поджогов. Как установили немецкие следственные органы, большевики, покидая город, оставили в нем целую армию своих агентов, в основном военнослужащих НКВД. Вооружившись квартирными ордерами, подпольщики занимали комнаты в центре Киева: почти в каждом доме на Крещатике и прилегающих к нему улицах комнаты средних этажей оказались за агентами. В одних случаях днем, когда соседи отсутствовали, сотрудник НКВД приходил в свою комнату, обливал керосином мебель и пол, поджигал и выходил, заперев жилье на ключ. Огонь быстро охватывал весь дом... Но значительно хитрее были «зажигательные снаряды». Поджигатель оставлял заряд в квартире, запирали ее и уходил. «Адская машинка» взрывалась ночью, когда пожара никто не ждал. Самым коварным в этих терактах было то, что агенты НКВД получали ордера на комнаты и квартиры, оставленные евреями, эвакуировавшимися на восток. И каждый поджог давал повод фашистам обвинить в этом евреев... – Юрий Краснощек. Взорвав Крещатик осенью 1941-го, советские диверсанты спровоцировали жесточайшую расправу гитлеровцев над киевлянами. – «Факты и комментарии» (Киев), 25 декабря 2012 г.

* Массу подробностей о выживании киевлян под немцем, о бомбежках города советской авиацией в 1943-м читатель может узнать из книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр»

(lib.ru/PROZA/KUZNECOW_A/babiyar.txt).

<...> Завтра восьмое [мая 1963 года], день маминого рождения. По старому [стилю] это было 25 апреля. Я еще помню, как это было при папе. Мама была в белом платье из вышивок, очень красивая, и папа подарил ей золотой браслет с жемчугом. При немцах мы вынуждены были его продать. Мы продали тогда почти все наши драгоценности, ну, а то, что не продали, сгорело, так как уходя немцы сожгли наш дом. До чего я ненавижу войну!

<...> При немцах бомба [(советская?)] попала в соседний дом и многое в нашем доме повредила. У нас вылетело окно тогда, все это полетело в комнату. Пришлось окно вместо стекла забить бинтом, и еще много лет после мы жили с этим отчасти забитым бинтом окном. И у каждого стекольщика на улице я спрашивала, почем фрамуга (стекло для верха [окна]). Стоила она 150-200 руб., и несколько лет подряд мы не могли ее вставить. Ведь после войны много было разбитых окон.

<...> Сегодня [(6 ноября 1963 года)] исполняется ровно двадцать лет, как немцы во время войны ушли из Киева. Мы так радовались их уходу, но они зажгли массу домов, на углу Горького и Саксаганского. Свалили всякую мебель, облили какой-то жидкостью, керосином или бензином – не знаю, и угловой дом запылал.

Перейти Саксаганскую было невозможно, по ней шли немецкие войска, по правде сказать, в полном порядке. Довольно любопытная картина была: эти идущие серые солдаты на фоне пылающего пожара. Мы с Зиной решили, что ветер дует в другом направлении, и наш дом не загорится, и преспокойно легли спать в уверенности, что на следующее утро мы уже вернемся в нашу старую квартиру.

В 6 часов утра я побежала к нашему дому. Он уже горел и из обоих окон моей комнаты вырывались языки пламени. Да, ужасно [было] лишиться всего, всей нашей библиотеки, всех наших вещей. Я ненавижу войну и терпеть не могу рассказов о ней.

<...> Когда немцы нас выгнали из нашего дома №24, я сама перетащила сюда мамин ночной столик и ломберный столик, который, может быть, помнишь, стоял между окнами в Солоновщине в зале там, где был наш рояль?

<...> Ужасная была история. Я не помню, писала ли тебе, что я ходила тогда каждый день к матери нашей знакомой еврейки. Немцы ведь убивали тех, кто помогал евреям. И если бы это обнаружилось, расстреляли бы всех нас: маму, Зину, тети Анютину внучку [Лену] и меня. Старуха эта была больна. Ее муж и дочь пошли на Бабий Яр. Никто же не думал, что их там расстреляют, думали – это регистрация. Дочка, наша хорошая знакомая, просила меня заходить к ее матери каждый день и приносить ей еду. Дочка хотела эвакуироваться.

А родители (долго жили в Германии) отговаривали ее: «Немцы – культурные люди, это у нас про них чепуху рассказывают». Все трое прекрасно говорили по-немецки. Их, отца и дочь, убили в Бабьем Яре, а я все еще ходила к старухе. Она думала, что муж и дочь еще вернутся. Ее грабили – днем русские, а ночью немцы. Люди эти были очень богатые, грабить было что. Немцы были очень вежливы (она с ними свободно разговаривала по-немецки), но уносили лучшие вещи.

Я ходила к ней месяца, приносила обед. Знала, что ее куда-то увезут и убьют, но что я могла сделать? Последний раз зашла 25 октября [1941 года], ее уже увезли. Зашла в дворницкую, там лежали их тюфяки, подушки, одеяла – то, что грабящие еще не разграбили. Я ушла домой, могли ведь меня арестовать и всех моих убить.

<...> Они сожгли, уходя, всю Библиотеку Университета, всю бывшую публичную Библиотеку. Да, культурные немцы! Шеф библиотеки Академии Наук уехал в Германию и, вернувшись, топором начал рубить белые с золотом шкафы какого-то польского короля, которые стояли в отделе старопечатных книг. Идиотство!

Выживание нашей героини после войны вскользь характеризует следующее воспоминание:

<...> Мой диплом об окончании физико-математического факультета Высших женских курсов, который каким-то чудом сохранился у меня, послужил только раз. Все остальные бумаги сгорели – и метрика, и гимназический диплом и пр. Немцы, уходя, сожгли дом, где мы жили. После войны были у нас все продукты по карточкам: категории А, категории Б и затем «кое-какеры» и «изможденцы».

Ну вот, пришлось предъявить мой диплом о высшем образовании в бухгалтерию. После чего мне выдали карточку «кое-какеров», а не «изможденцев». Получала лишних 100 гр. хлеба в день и за месяц 400 гр. масла вместо 300 гр.! Но это, конечно, чепуха, я ведь училась вовсе не из-за каких-то материальных выгод, а из желания знания, училась и в Швейцарии, и в Англии, и в Германии. Я считаю, что высшее образование все-таки что-то дает.

Уточним здесь, что «кое-какеры» получили такое хлесткое прозвище, потому что могли жить лишь кое-как, а «изможденцы» (иждивенцы) получали самый скудный паек.

Заодно приведем и такую зарисовку – про словоблудие большевиков, которые пытались послевоенный голод превратить в сознании советских людей в нечто другое:

У всех была такая страшная нужда (по утрам вместо кофе и чая мы ели борщ), приходишь в семью наших знакомых и спросишь: «Вы уже пообедали?», то ответ обычно был такой: «Нет, у нас сегодня обед выходной». Отец и мать, оба работали, двое детей, а «обед выходной». И вот детям в младших классах школы задали сочинение: «Как жили бедные люди в царское время». Откуда дети это могут знать?

Когда я сказала: «Лучше бы задали вам, как бедные люди живут теперь», мальчик, в доме которого часто бывал выходной обед, спокойно ответил: «Да это и так все знают». А у девочки (ее бабушка, пенсионерка тогда, работала раньше врачом-гинекологом), которая, чтоб подработать, шила, т.е. чинила, хирургической иглой какие-то мешки, я прочла ее сочинение. Какая-то у нее бедная женщина (это в царское время!) получила за месяц жалованье и смогла на него купить только одну французскую булку! Булки тогда стоили 3-5 коп., что же, она за месяц получила 3-5 копеек?

В мае 1946-го Софья Николаевна написала своей бывшей учительнице на Библиотечных курсах, а затем сослуживице Л.Б. Хавкиной. Мы приведем из него отрывок, касающийся киевской жизни:

<...> Когда Вы были у нас в Киеве [в 1925 году], мой племянник был еще мальчиком. А теперь окончил ВУЗ как архитектор, бросил, стал артистом, играл в театре, четыре года провел на войне и сейчас все это бросил и стал писателем. Редактирует какой-то отдел в газете «Радянське Мистецтво» и на днях едет в Москву, где в «Знамени» должен печататься его роман о Сталинграде. Сестра по-прежнему [служит] врачом на ж.д. Я работаю 4 часа в день, как библиограф. Все.

Часто мечтаю уехать из Киева, который никогда не любила, но в моем возрасте без всяких средств, без вещей устроиться трудно. Вот и сижу в комнате, на которую имею ордер. Впереди ничего хорошего не вижу, слишком много я видела, как умирали одинокие старушки в эти годы, при немцах и потом. Вообще, слишком много тяжелого было в эти годы. (здесь и ниже – ф. 321 отдела рукописей РГБ)

В феврале 1947-го из Киева ушло еще одно письмо Л.Б. Хавкиной (процитируем, опять же, в основном киевские дела):

На днях вышлю Вам мои воспоминания о библиотечных курсах. Я их написала как одну главу из моих воспоминаний вообще, у меня много [подобного] написано.

<...> Письма моей сестры из Лозанны к нам не доходят, не могу понять почему. До войны у нас была с ней постоянная переписка. Недавно дошла одна открытка от ее мужа – Ульянова. И еще пишет одна ее знакомая из Чехо-Словакии. Наше главное развлечение дома – чтение критических статей и писем, которые получает мой племянник от своих читателей.

Не знаю, говорил ли он Вам, что написал роман или повесть «Сталинград». Почему это произведение имело большой успех, печатается в двух издательствах, переведено на английский, французский, немецкий языки, и из Чехо-Словакии писали, что там печатались отрывки по-словацки. «Сталинград» этот дважды обсуждался в Союзе Писателей, Викина карикатура была уже в «Крокодиле». Одним словом, с одной книги стал известностью.

Увы, несмотря на это мы сидим без денег, и так как хозяйство веду я, то это ужасно утомительно. Дороговизна у нас ужасная, запасов нет. За картошку я сегодня заплатила 35 руб. – 2 кило. Сахар и крупа почти исчезли, я каждый день ломаю голову, откуда взять денег, чтоб выкупить паек. Ждем Викиных денег из «Сов. Писателя», из «ВоенИздата» и за английский перевод. Я и сестра зарабатываем совсем мало.

Вика заведует отделом изобразительного искусства в газете «Радянське Мистецтво». Он ведь по образованию архитектор, и я очень жалею, что он не работает в этой области, а вообразил себя писателем. Моя сестра и Вика думают переехать в Москву. А я не хочу уезжать отсюда.

В шестьдесят девять лет наша героиня, как мы уже упоминали, вынуждена была уйти на пенсию: «Мне уже в 1950-м году пришлось бросить работу, так как при малейшем напряжении у меня делалось сжатие мозговых сосудов и меня приходилось привозить домой или в карете скорой помощи или в автомобиле директора и вносить на носилках в четвертый этаж».

В том же 1950-м В.П. Некрасов, как лауреат Сталинской премии, получил отдельную двухкомнатную квартиру, и наша героиня осталась в старой квартире одна (не считая совсем чужих соседей). А кто поддерживал его быт, когда он жил вместе с матерью и теткой (Алина Антоновна умерла во время войны)?

На это весьма живописно отвечают письма С.Н. Мотовиловой:

<...> Тут, на ул. Горького [(в коммунальной квартире дома №38)] <...> его «друзья» жили у нас годами! Теперь еще домработница у них есть, а то мне приходилось на всех готовить и бесконечно стоять в очередях по нашим карточкам. Простою час, например за Викиными папиросами, приду домой, а его «друзья» радостно набивают этими папиросами свои карманы, и приходящие, и живущие.

<...> Тридцать лет работала как вол, выполняла самые неприятные, тяжелые работы, после трех служб бежала на толкучку продавать наши вещи. Сколько раз я рисковала быть арестованной за так называемую «спекуляцию», продавала пайки, водку и прочее. После маминей смерти превратилась в какую-то крепостную их кухарку. И Зина, и Вика не замечали этого. В 1947 году, когда они были уже очень богаты, я сказала, что перестану готовить им.

Надо было слышать негодующий крик Вики: «Мама, слышишь, сюрпризик к Новому году! Соня не хочет больше готовить!». Вы думаете, они замечали, что я тридцать лет делала все для них. Нет. Вика мне сказал: «С тех пор, как я помню себя, я всегда тебя ненавижу». Через десять лет он повторил: «Не только я ненавижу тебя, но и все мои товарищи». Вся эта сволочь, которая у нас жила, для которой я должна была стоять в очередях, готовить, мыть посуду и прочее. Одним словом, не перечесть всех моих «благодеев».

Некоторое время спустя С.Н. Мотовилова оказалась в больнице и зафиксировала весьма живописные эпизоды из советской «бесплатной медицины»:

<...> В 1954 году (я ведь получала пенсии тогда всего 210 р.) я старалась экономить, довела траты на еду до 160 руб. в месяц, ну и сейчас же глаза разболелись. Пришлось лечь в глазное отделение в больницу (это тогда Лена [Игнатович] писала Вике, зачем он меня взял из больницы?, надо было поместить меня в сумасшедший дом).

<...> Я лежала в глазной больнице в 1954 году. У нас ведь нет отдельных комнат, а кладут в общие палаты. Нас лежало десять в общей палате. <...> Очень хорошо, что у нас бесплатное лечение в СССР, но ухаживающий персонал страшно нахален. У меня, например, сделался там спазм мозговых сосудов, тогда я не могу двинуться, должна лежать. И даже, когда начинается мозговая рвота, не могу головы поднять.

Пришла нам капать капли сестра, девчонка лет восемнадцать и кричит, чтоб я сейчас же вставала. Сама стоит в двух шагах от меня и не может подойти и капнуть мне в глаза! Разъяренная девчонка побежала жаловаться докторше. Прибежала негодующая докторша, но, конечно, поняла в чем дело и велела ей капать мне, когда я лежу. Я не знаю почему, но со мной все грубы. Кажется, потому, что я произвожу впечатление бедной и одинокой. Как видишь, в социалистическом государстве это имеет такое же значение, как в буржуазном. Когда мне надо было выходить из больницы, и Вика в автомобиле приехал за мной, вся эта дрянь залебезила: «Сыночек приехал, сыночек приехал!» Очевидно, чтоб на чай получить.

<...> Это очень хорошо, что больницы у нас даровые, и кормят там неплохо (даром тоже), но... Невозможно грубый персонал и, вообще, условия [плохие]. Я, например, была там в 1954 году три недели и [как-то] хотела взять ванну. Сказали: «Нельзя, ванна завалена грязным бельем». Ты, верно, читала в «Новом Мире», как Бруштейн описывает операцию (примерно как у тебя снимали катаракту) в институте Филатова*. Идиллия! А если бы я свой опыт описала, очевидно, не напечатали бы.

<...> Когда я лежала в больнице, я даже хотела написать мои личные наблюдения в какой-нибудь медицинский журнал. Да все равно бы не напечатали. Докторша, которая делала какие-то процедуры мне, все приставала ко мне, чтоб я ей «продала» мои часы. Я ей говорю: «Да ведь часов сколько угодно у нас, во всех магазинах». Нет, она хочет швейцарские. Очевидно, хотела, чтоб я ей подарила. Как-то у меня был Зинин [надушенный] платок. Докторша стала восхищаться – какие замечательные духи! Я попросила Зину: «Принеси для нее флакончик». Зина приносит, передаю ей. Она с негодованием: «Почему так мало?»

Но когда за мной в автомобиле приехал Вика с семипудовой Ганей, у которой вид важной «матери ответственного работника», все мои «нянечки» стали страшно любезны: «Сыночек приехал, сыночек приехал». Тьфу! У нас это называется «пережитки прошлого», «веснушки буржуазного быта» или что-нибудь в этом духе. Но ведь, слава богу, сорок пять лет уже прошло с Октябрьской революции, а «пережитки прошлого» не отмирают! Или, например, врач меня [издевательски] спрашивает: «Надо убрать это ненужное украшение?» Я не понимаю: «Какое ненужное украшение?» Оказывается, он так называет мой невидящий глаз. (из писем сестре)

А в одном из писем И.Р. Класону Софья Николаевна вынесла беспощадный диагноз «бесплатной» советской медицине:

<...> Вообще о больничных нравах и советских врачах я бы могла много рассказать. Когда мама болела, ей было уже свыше восьмидесяти лет. Но маме хотелось, чтоб ее лечили. Я как-то вызвала из поликлиники невропатолога.

* Речь идет о повести Александры Яковлевны Бруштейн «Простая операция» («Новый мир», №11, 1962).

А то мы [*раньше*] приглашали профессора, но его надо было привозить в такси. А такси делало какие-то «развороты» и стоило больше гонорара профессора. Тогда мы платили ему 50 руб. за визит. Мама спросила врача-невропатолога: «Поправится ли моя нога, смогу ли я хорошо ходить?». Врачиха злобно сказала: «Всякому овощу свое время» и ушла. Профессор был вежливее. А знакомая врачиха сказала мне: «Если бы вы ей платили 50 руб., и она была бы вежлива». Да! Ну, я думаю, мы с Вами до коммунизма не доживем.

В октябре 1958-го в Лозанну был отправлен репортаж о ярких событиях в тусклой жизни нашей героини. Это именины Софьи Николаевны, приход домработницы Гани от Некрасовых с угощениями и, наконец, визит «свадебного генерала» – сестры Зины.

Описание этого события мы опустим, а вот на другом, не менее ярком остановимся:

<...> Другое мое событие. Это уже совсем «колоссальное»: здесь был мой «итальянский внук». Это я так назвала Викиного итальянского переводчика [*Витторио Страду*].

<...> Вика (он что-то важное в обществе «Италия-СССР») развозил итальянских поэтов по Киеву, показывал им все наши достопримечательности. В три часа был обед в Союзе писателей со спичками, вечером итальянские поэты читали свои стихи в университете, а украинские – свои переводы их.

Зина убедила меня пойти в университет. Отвезли меня туда в такси, привезли обратно в такси, но это было ни к чему. Я ничего не слышала, ничего не понимала, и только через день, когда один мой знакомый прислал вырезку из московской газеты, я узнала, что происходило в зале университета, где я была, кто что говорил. Да, впрочем, и я, и Зина слышали выступление Вики. Он говорил громко и по-русски.

Да, так Страду Зина привезла ко мне между поездками по Киеву и обедом в Союзе писателей, на полчаса. Он оказался совсем не таким, как я его представляла. Не знаю, что сделалось с ним в «нашем Эльдорадо». Ну, извинился, что мне не писал и затем с отчаянием сказал: «Это ужасно, у вас непрерывно пьют, то водку, то вино». Я испугалась, как бы и мой «итальянский внук» не стал пьяницей (Вика отчаянно пьет, я не видела, а это мне рассказывают). Но Страда заявил: «Этого никогда не будет!».

В ноябре 1958-го «семейная связь» пристраивала труды своего зятя-профессора Н.А. Ульянова в киевских научных библиотеках и заодно, вполне обоснованно, пинала «любимого племянника»:

Вика наш тоже хорош! Французский забыл, немецкий учил в школе – не знает, английский – все детство брал частные уроки у лучших Киевских учительниц, потом учил его в Строительном Институте, поражая своим хорошим произношением и знанием языка свою преподавательницу. Я ее теперь иногда встречаю, и она всегда вспоминает его. У Вики большие способности к языкам, и теперь, когда его посылают за границу, так бы ему это знание языков пригодилось, да и вообще, мог бы их подучить теперь, все равно ведь ничего не делает. Как архитектор он был в высшей степени талантлив, это знали и его профессора и, главное, товарищи. «Его гениальные линии», – говорил один из них. Ну, и что же? Бросил.

А вот весьма неприятная информация:

<...> Я уже писала тебе, что №8 «Нового Мира» [*за 1959 год*] я не достала. Если Вы очень хотите его иметь, пусть Ульянов напишет Вике. Если я его, Вику попрошу, он скорее сделает наоборот. Он мне уже дважды рассказывал (один раз, когда ему было двадцать восемь лет, а другой – тридцать восемь), что с тех пор, как он помнит себя, он меня всегда ненавидел. В детстве он был такой тихий, разумный мальчик, никогда у меня с ним не было никаких столкновений.

Мне и в голову не приходило, что в нем кипит ненависть ко мне. Я была страшно поражена, когда он мне это сказал в 1939 году. Когда ему было уже тридцать восемь лет, он еще прибавил, что и все его товарищи ненавидят меня. Ну, это-то мне глубоко наплевать, я так презираю всех этих беспринципных его паразитов.

Ты, вероятно, можешь понять Вику, ведь ты писала маме, что я отравляла твою жизнь дома, а недавно писала Зине, что [Н.А.] Ульянов меня не любит. Хотя я с ним, по моему, никаких дел не имела и, вообще, его мало знаю. Очевидно, есть что-то во мне, что возбуждает вражду и ненависть в людях! Когда мне было четыре года (!), [наша симбирская знакомая] Маня Нейкова писала Зине: «Приходи ко мне, только без Сони». Папа заявил: «Чепуха, Соня будет ходить туда же, куда и Зина». Когда в 1947 году Вика праздновал свое лауреатство, он потребовал, чтоб меня не было дома. (из письма в Лозанну в сентябре 1959-го)

В очерке «Классонята» уже приводилась трогательная история о том, как потомки Классона и Мотовиловых в 1959-м «заново познакомились» при посредстве Е.А. Игнатович, собиравшей подаяние со своих «богатых родственников». С тех пор, собственно, и началась переписка С.Н. Мотовиловой и И.Р. Классона, оставившая массу ярких свидетельств об уже умерших предках и живших в то время родственниках.

В сентябре 1959-го «семейная связь» информировала «свежего», московского корреспондента о своих родственниках, живущих в Швейцарии (эта тема будет еще звучать в очерке «Виктор Некрасов в разных измерениях», но уже из этого отрывка становится понятно – в связи с чем):

Я ужасно люблю получать письма, но почему-то мои письма всем надоедают. Однажды моя сестра Вера даже написала, чтоб я ей больше не писала, и мы шесть лет с ней не переписывались. В прошлом году я все же с ней возобновила переписку, но переписка такая. Я ей послала в этом году двадцать длинных писем, а она мне два коротеньких, пишет, что ей трудно писать. Я посылаю ей все время наши русские книги, и ее муж извещает меня о получении их. Ее муж геолог, профессор Лозаннского университета. Много пишет.

Присылает мне свои геологические работы, но я от геологии совсем отошла и не могу сейчас читать научных книг ни из какой области. Мои знакомые мне дарят свои труды, но, увы, они лежат у меня зря. В сентябре мой зять, Верин муж, будет водить экскурсии геологов (не студентов, а ученых) по массиву МонБлана, это участок его работы. Работает еще как консультант в постройке туннеля через МонБлан из Франции в Италию. И при этом ему материально трудно, а мы ничего не можем ему послать. А во всех европейских издательствах есть деньги на Викуны издания, лежат зря. Наши писатели не имеют права получать свой гонорар из заграничных издательств. Почему? Что за нелепость?

Через какое-то время Софья Николаевна опять написала И.Р. Классону о своих «бедных родственниках» в Швейцарии:

*<...> Кажется, воспользовавшись Вериним улучшением [здоровья], Ульянов уехал на неделю в Париж, в связи с печатанием там его геологической карты. Он раньше думал Веру на это время поместить в клинику. Они ведь там частные, и не очень большого [человека] можно за деньги поместить. Но, очевидно, их денежные дела так плохи, что вместо этого с Верой на квартире осталась их новая *femme de ménage**, будет у них ночевать.*

* Дословно – «приходящая домработница».

Моя сестра пишет, что ей это очень неприятно, но она вынуждена была согласиться. Но Вы подумайте, до чего это обидно. Викины деньги в издательствах есть и в Германии, и Англии, и Франции, и Италии, и эти издатели готовы платить, а Вера и ее муж ужасно нуждаются! А ведь они все эти годы нашей нужды помогли нам, отложить он ничего не мог: помогал нам и своей матери. Ужасно! Я теперь страшно боюсь, не случилось ли чего с Ульяновым. У меня уже месяц нет от него ни строчки. Ему ведь семьдесят девять лет, как мне, с ним мог быть удар, в Париже мог попасть под автомобиль. Что будет тогда с больной и совершенно одинокой нашей Верой?!

В письме И.Р. Классону в октябре 1959-го С.Н. Мотовилова в очередной раз обрисовывала «сложные отношения» со своими киевскими родственниками:

С Зиной у меня «разрыв отношений». Это бывает часто. Стоит мне сказать: «Надо бы подумать, как послать Вере денег», как она приходит в бешенство, кричит: «Начинается...». Судорожно хватает свои вещи, не одетая вылетает в коридор, с грохотом швыряя мою дверь. Все соседи уже знают, у меня с сестрой разрыв отношений. Дней через пять она появляется *comme si de rien n'était* [(как ни в чем не бывало)].

На этот раз в воскресенье у меня была в гостях Зина, жаловалась: как это ужасно, у их домработницы Гани уже несколько дней гостит ее племянник – колхозник-комбайнер, он привозит сюда сало, свинину для продажи.

Ну а у них живет (уже с января!) бывший милиционер, теперь он экспедитор на каком-то заводе, получает рублей [около] тысячи. Зачем он должен у них жить? Зина говорила, что нужно им давать раскладушки, тюфяки, подушки и т.д. Один спит с Ганей в кухне, а другой – в коридоре. Я естественно сказала: отчего вы не можете милиционеру сказать, чтоб он уезжал, ведь Лену [Игнатович] вы всякий раз выгоняете в день ее приезда?

Ну, тут началось такое волнение. Зина выскочила как ужаленная и со всей своей одеждой в руках вылетела от меня. Почему она в таких случаях не может у меня в комнате одеться – не знаю. <...> Я думала, что на этот раз разрыв отношений у меня с Зиной на всю жизнь, но это длилось десять дней. А что я такого сказала?

В том же месяце С.Н. Мотовилова описывала московскому корреспонденту эпоху повального воровства и мошенничества при большевиках. При этом автор никоим образом не собирается косвенно обелять царский и новый российский режимы, где не только воровство и мошенничество, но и грабежи с бандитизмом были весьма распространены, просто никак не стыкуется это печальное обстоятельство со строительством «нового общества».

Итак:

Вы мне советуете обратиться к прокурору, в суд! Да Вы что, наших прокуроров не знаете, наших судов, нашу милицию? В газетах не пишут. Но вдруг, правда лет десять тому назад, начинаются слухи: в Киеве (или на Украине?) арестовано 40 прокуроров – взяточники. Вы знаете, что наш Киев называют «Хабаровск на Днестре»?

Нас два раза основательно обкрадывали, раз на даче ночью, когда Зина и Вика спали, вынесли все из их комнаты – часы, одежду, все. Мы подали заявление в милицию. Через месяц приходит милиционер. Спрашиваю, что с нашим заявлением. Спокойно отвечает: «Пошло на погашение. Есть у нас время этим заниматься!» Потом нас обкрадывали основательно работавшие в доме маляры. И сколько мама ни обращалась в милицию, никто не захотел прийти, составить протокол о краже.

Это было до войны, а уже после войны обокрали мою знакомую. Она энергичнее нас и все бегала в милицию. И однажды, когда говорила там с каким-то начальником, пришла его жена в ее шубе.

Ну, все это мелочи. Из-за своих мелочей никогда особенно не хлопотала, но с самого начала советской власти я не саботировала, как наша интеллигенция, а сразу пошла работать в Совет рабочих депутатов. И вот я стала бороться против мошенничества, вредительства. У меня было то, что теперь называют – «связи». Те хорошо знали нескольких из старых большевиков. И я верила тогда, что теперь должна быть правда. Надежда Константиновна хорошо относилась ко мне. И вот со всех сторон полезло жуткое мошенничество, вредительство. Могла ли я что-нибудь сделать? Ничего.

Классон рассказывал моей маме, как его удивило, что Ленин не знает многого, что происходило тогда в стране. Крупская была слишком мягка, бороться против зла она не могла. Нет, ничего мне не удалось ни спасти, ни вскрыть. Моральное удовлетворение у меня иногда было. Лет через пять после моей борьбы банду взяточников арестовали. Но я-то тут была ни при чем.

В январе 1960-го на И.Р. Классона изливались очередные эмоции и «настойчивые пожелания» со стороны «семейной связи»:

<...> Пересылаю Вам письмо Лены [Игнатович] Зине, может Вы чем-нибудь поможете. <...> Верить Лене ни в чем нельзя. Пишет, что лежит в больнице, и купила валенки сыну. У нас из больницы больных не выпускают. Мне так обидно, я знаю многих богатых людей, которым денег девать некуда, а тут человек непрерывно «умирает с голода»!

Вика десятки тысяч раздает направо и налево, а ей посылать не хочет. За два года после написания «Окопов» Вика получил 680 тысяч и все их раздал своим паразитам, людям, особенно не нуждающимся. Ну а с тех пор миллионы получил, но все раздал разным пьяницам и бездельникам. А Лене – не хочет!

Читали ли Вы в газете, что Гомочка Мотовилов получил вторую премию за проект памятника Льву Толстому. Первой премии никто не получил, так что делать его будет он. Если будете у него (Вы ведь хотели к нему пойти), передайте ему, что я очень горда, что он прославляет наше мотовиловское имя.

<...> Были ли Вы у Александровых, у вашей «бывшей кухни»? Познакомились ли с ее братом академиком? Тот ли это, которого я имею в виду? Какое у Вас от него впечатление?

<...> Сегодня ко мне зашла Зина. Вике надоело ждать, когда его пошлют в Китай, и они решили с Зиной опять на зиму ехать в Малеевку. Может быть, Вы зайдете к Зине. Они останавливаются обыкновенно у своих знакомых Лунгиных (я их не знаю). Лунгин Семен Львович, Москва, Г-29, Кутузовский пр., 1, кв. 8. У них телефон, № его я не знаю, но Вы же можете узнать в телефонной книге или в справочной. <...> Он бывший режиссер, теперь драматург, а жена его [Лилианна –] переводчица.

<...> Зине восемьдесят лет и она глуха, мы все в этом возрасте глухи. <...> В Москве Вика Зину никуда не отпускает одну, но может быть Вы могли бы к ней зайти? У них еще нет путевок в дом отдыха, но они надеются их получить во второй половине января. <...> Сколько раз я ее просила найти «классонят», т.е. детей тети Сони. Ни за что не хотела: «Что, я приду и скажу: «Я ваша родственница»? <...> Инициативу, чтоб видеть Зину, проявите Вы, а то она теперь безынициативна.

А в апреле С.Н. Мотовилова писала в Москву о «переродившихся» родственниках большевиков:

В первых трех номерах «Нового мира» есть роман Давыдовой. Очень хорош. Есть, конечно, недостатки, скомкан конец. Но уж очень хорошо изображены современные инженеры и директора заводов. Я то их не знаю, но Вам, вероятно, приходилось встречаться с этими экземплярами?

*Современные коммунисты! Описание их вечеринки замечательно. Нда! Это дети бывших коммунистов, как Ленин, Красин и пр., я их видела в театре. Толстые, жирные, самодовольные! <...> О Давыдовой негодующая статья в «Комсомольской правде». Если мне что нравится, у нас непременно ругают. Не любят правдивого изображения действительности!**

Нам неизвестно, что Иван Робертович ответил своему киевскому корреспонденту... Автор этих строк, когда ездил с отцом на Новодевичье кладбище, встречал там вполне благопристойную дочь другого Красина – Анну Германовну, которая ухаживала за могилой А.В. Винтера (оказывается, еще в 1910-х Александр Викторович отбил у Германа Борисовича его супругу Екатерину Васильевну). Кстати, после того как Анна Германовна в 1980-м сама умерла, автору этих строк приходится ухаживать за «бесхозной могилой» А.В. Винтера, поскольку Энергетический институт им. Кржижановского про своего бывшего руководителя начисто забыл.

В декабре 1960-го «добровольный ходатай по чужим делам» объяснялся с сестрой Верой:

*<...> Объясню тебе, для чего я «возобновила» мое знакомство с Алексеевым** . Меня страшно мучит, что мы не можем тебе послать денег. Все эти дурацкие правила, что высылать деньги из одной страны в другую нельзя, что даже туристам дают очень ограниченные суммы и т.п., я знаю. Но должен же быть какой-то выход из этого положения? Одно время выезд за границу был, кажется, запрещен, но мама побывала у тебя и в 1923 году, и в 1928-м году. Бывают исключения из правил.*

Ну вот, по поводу этого я и написала Алексееву. Видишь, я верю только старым большевикам, а он большевик с 1903 года, 2-го съезда партии. Хорошо был знаком с Лениным, работал в Лондоне с Крупской, вообще порядочный и, хотя Сергей Васильевич [Андропов] и [Алексей Михайлович] Воден передавали мне (зачем?) его нелестные отзывы обо мне, я все-таки написала ему.

Но, увы, он ответил все то же, что я знаю и без него. Что денег, де, ни в коем случае пересылать нельзя, что у нас нет конвенции насчет оплаты переводов [книг], и мы не платим, и нам имеют право не платить, и поэтому, как предлагал Ваня Классон, написать в издательство, где выходят Викины переводы, чтоб посылали деньги тебе, Вика не имеет никакого права. Нда! Точно я и без него все это не знаю! Мне ведь надо какое-то не официальное, а человеческое решение. Вы нам помогали все годы нашей нужды, а мы ничего сделать не можем, когда ты больна!

В январе 1961-го у Софьи Николаевны возникли такие эмоции для излияния ее перед московским корреспондентом:

<...> Мясо у нас исчезло, молоко и масло тоже. Всюду очереди. Я же стоять не могу. Знаете, а [академик] Яснопольский на семь лет был старше меня, а отлично мог стоять, даже не прислоняясь.

<...> Выйти мне сегодня пришлось из-за котенка. На второй день старого русского рождества пошли с Зиной на базар, чтоб ему курицу или мясо купить. Вошли в Крытый рынок. Ни души, хоть шаром покати. Прошли все мясные ряды – ни души. Пошли в куриные – пустота! Подумайте, прошло сорок три года со времени революции, столько всякой антирелигиозной пропаганды было, столько всяких ужасов было совершено, и со священниками и их семьями, детьми, а наши колхозники твердо держатся за свои религиозные праздники и хоть бы что! Я много раз слышала, что со старого сочельника и до крещения на базаре ничего не бывает, а тут своими глазами убедилась.

* Наталья Давыдова. Любовь инженера Изотова. «Новый мир», 1960, №№ 1-3.

** Речь идет о жившем в Москве Николае Александровиче Алексееве, 1873 г. рожд., члене РСДРП с 1897 г., с которым С.Н. Мотовилова познакомилась в Лондоне еще в 1900-м.

И.Р. Классон ответил так:

Когда я читал в Ваших письмах, что перед Новым годом и на Рождество в Киеве исчезло из продажи масло, мясо и пр., я думал, что это «временные затруднения». Только после речи Хрущева на пленуме я убедился, что с этими вещами на Украине дело очень серьезно! Как у Вас теперь? Я мог бы послать Вам посылку. Вспомнил: в 1930 г. за один-два месяца до моего отъезда из Берлина в Москву я посылал Соне в Москву посылки с мукой, лавочник в Берлине удивлялся, «мы, мол, привыкли считать Россию житницей Европы».

Украина, конечно, в какой-то степени оставалась житницей СССР. Несмотря на то, что от голода в 1930-е на ней вымерло около миллиона людей. Но такова была бесчеловечная природа большевиков: собрать под угрозой ссылки и даже расстрела все зерно подчистую ради выполнения пресловутого плана хлебозаготовок (чтобы накормить пролетариат в городах, да и себя не забыть), а потом хоть трава не расти.

Мы уже упоминали о визите в Киев итальянского переводчика В.П. Некрасова, Витторио Страды. Вот новый, теперь заочный контакт нашей героини с этим персонажем в январе 1961-го:

Получила длинную телеграмму от моего самого любимого корреспондента, Викиного итальянского переводчика. <...> Мы переписывались с ним года два по моей инициативе. Пересылали друг другу книги, я ему – русские, он мне – итальянские и французские. Я никак не думала, что среди итальянцев есть такие интеллигентные, знающие, культурные люди. Он обожал Россию, Достоевского, Пастернака, ну и Вику немного. Письма его были очаровательны. Я думала, что эта переписка продлится до конца моей жизни. Увы, он <...> мне больше не писал. Это понятно, я ему больше не нужна, он был в гуще русской жизни, имел книг сколько угодно, зачем я ему. Вика тоже был против моей переписки с ним. Вика сказал: «Не пиши Страде, а то ты его погубишь. Говорю тебе: доведешь до тюрьмы».

А вот о столкновении Страды с идеологией большевиков:

Я Вам писала, что у Вики есть итальянский переводчик, чудесный юноша, коммунист, влюбленный в Россию. Он блестяще окончил Миланский университет, филологический факультет и приехал к нам в Москву и поступил в аспирантуру. Вика мне сказал, чтоб я ему, переводчику, не писала, а то его погублю, до тюрьмы доведу (?). Ну три года не писала, но, наконец, мне захотелось знать, какую диссертацию он пишет. Он ответил. Его диссертация была «Советское литературоведение 20-х и 30-х годов». Но до защиты ее его не допустили (!), сказали, что там ревизионизм!

Он уезжает в Италию, как я понимаю, без звания «кандидат наук». По Вашему, не безобразие? Ведь какой-то наш профессор руководил его работой? Что он не мог ему объяснить, что у нас можно писать, а чего нельзя? Вероятно, он уже уехал в Италию, будет работать в издательстве, а преподавать в университете не сможет. Он говорит: так лучше, а то он слишком книжный человек.

В марте 1961-го Софья Николаевна пожаловалась сестре В.Н. Ульяновой: “<...> Я тебе, кажется, писала, что Ваня Классон мне написал: “Не думаете ли Вы, что тема «Чистка геолкома» (в 1931-м году) уже исчерпана?” Очевидно, я ему надоела рассказами об этой чистке, но ответила так: «Исчерпанных тем у меня быть не может. Я – жвачное животное и жую все одну и ту же жвачку»”.

И, действительно, в сохранившейся машинописной копии письма И.Р. Классона в Киев было деликатно отмечено:

Вы спрашивали меня, кажется в предпоследнем Вашем письме, интересна ли мне тема «Вика»? Пользуюсь этим Вашим вопросом и позволяю себе сказать Вам, что интересна: я очень высоко ценю его рисунки в «Первом знакомстве», многие места в этой книге, его выступление по архитектуре и др. Тему о Лене Игнатович я совершенно не ценю! Все Ваши экскурсии мемуарного характера (кроме чистки в Геологическом комитете – эту тему, мне кажется, Вы уже исчерпали) мне очень интересны!!! То, что Вы пишете о родных в настоящем времени, меня тоже очень интересует.

Пожившая и при царизме, и при большевиках Мотовилова в том же месяце мимолетно сделала поразительные выводы об «упадке нравов» «замечательных советских людей», отвечая на вполне невинный вопрос И.Р. Классона.

Итак:

Вы спрашиваете, почему я пишу, что не мама была у Классона, а Классон у нее. Видите, в наше время мужчины ездили к дамам, а не наоборот. Мужчины приезжали поздравлять с Новым годом и Пасхой, а не дамы. Мужчины помогали дамам выйти из экипажа (то, что Классон называл «позвольте вас взять под жабры»).

Ну, теперь другое время: я, например, готовила обед, торчала во всех очередях, чтоб продукты получить. Вика и его приятель обедают (гости у него к обеду бывали ежедневно). Поев обеда, Вика развалился на диване, его приятель – в кресле, ну а мне нужно еще посуду перемыть. В это время я роняю кошелек. Вся мелочь рассыпается по комнате, ползаю (я, семидесятилетняя старуха!) под столом, под стульями. Вика, конечно, не двигается. Ну, а его друг, более живой, еврей, тычет то в одну, то в другую сторону и говорит: «Вон там, под стулом, Софья Николаевна, вон там, у ножки стола». И я ползаю, и ползаю.

В последнем эпизоде, как понимает читатель, С.Н. Мотовилова вспоминает также и то время, когда она жила в одной квартире с сестрой и племянником. Но другие живописные подробности придется, все-таки, отложить до того, как мы перейдем к описанию жизни этих двух весьма достойных представителей советской интеллигенции (см. очерк «Виктор Некрасов в разных измерениях»).

Сюжетов про «упадок нравов» (не только в СССР, но и в мире) у нашей героини было предостаточно:

А вот как-то, после войны иду я через сад Шевченко, бывший Николаевский. Через лужу перекинута доска. По ту сторону доски стоит офицер Советской армии и говорит: «Кто из нас первый пройдет по доске?». Я говорю: «Конечно, я. Я стара, у меня рваные валенки, а у вас хорошие сапоги и вы молоды». Он очень ловко перепрыгнул через лужу, но верно ему кажется, что, уступив, он унизил свое офицерское достоинство, и кричит: «Старая дура!».

В былое время вечером знакомые мужчины считали своим долгом провожать нас до дома. А в Лейпциге один мой знакомый всегда еще стоял и ждал, когда зажжется свет в окне моей комнаты. А вот теперь Машенька из Тамбова мне пишет. Какой-то поклонник ее дочери засиделся вечером у них, и она, дочь, пошла провожать его на троллейбус! Нравы переменялись и у нас, и за границей. В Америке девицы ходят по улицам (видела снимок) в бюстгальтере и трусах. А какой-то наш писатель описывал, как девица со стройными ногами показывала им здание, кажется ООН, тоже в трусах.

И еще о «падении нравов», точнее о стойком их сохранении в непростых отношениях евреев и русских:

Зина теперь почему-то плохо относится к Гомочке [Мотовилову]. Утверждает: «все говорят, что он плохой человек». Очевидно, это говорят Зинины знакомые евреи. Я Вам писала, что одинаково не терплю и антисемитизм, и антируссизм и всякие национальные преследования. Хотя бы негров в Америке. Меня ужасно возмутило, что отец Розы Марковны Плехановой перестал ей давать деньги, узнав, что она вышла замуж за русского. Вся семья ее нуждалась, у них умерла одна девочка, заболел туберкулезом Плеханов, а на лечение не было денег! Я даже почувствовала симпатию к Плехановой, что она все это вынесла, а ее отец, богатый херсонский купец, двадцать три года ее знать не хотел! Кажется, только смягчился перед революцией 1905 года.

Мое негодование на отца Плехановой было так велико, что я захотела поделиться с одной моей соседкой, страшной антируссисткой. Вообще у меня в квартире восемнадцать жильцов (раньше было двадцать три). Из этих восемнадцати, четырнадцать – евреев и четыре – русских. Вот эта особа (еврейка, берет у меня книги) зашла ко мне, и я, кипя негодованием, рассказываю ей про Плеханова, то есть про отца его жены. Моментально же она вскипает негодованием: не на отца жены Плеханова, а на меня. Ничего тут дурного со стороны этого старика, отца Плехановой нет, она знает факты «куда похуже со стороны русских к евреям». (Но я-то ведь в данном случае говорила об отношении еврея к своей родной дочери.) «Ну что же Вы знаете», – спрашиваю я. «А то, что русские называют евреев жидами».

Надо Вам сказать, что ко мне все ходят богомольные старухи и старики, и все антисемиты! <...> Увы, разговор моих старух и стариков вечно соскальзывает на евреев и русских. И тут начинаются крики: «жиды», «жидовка».

<...> Сегодня Пасха. <...> Без меня приходила Зина (очевидно с Викой), принесла два кулича, творожную пасху и крашеных яиц. Старые традиции у них соблюдаются. В прошлом году на Пасху у них было много гостей, и одна гостья, смеясь, говорила: «Угощение все русское, а гости все евреи». (в письме И.Р. Класону от апреля 1961 г.)*

В ноябре 1961-го «временные продовольственные трудности» в Киеве повторились:

<...> Сегодня город разукрашен украинскими рисунками, флагами. Через три дня праздник. Я была уверена, что перед праздником продукты в магазинах будут: «выкинут», нет, говорят – «выбросят». Заходила в три магазина – нигде нет масла, в одном мне предложили шоколадное. Но я на масле только готовлю, сама его никогда не ем, всю жизнь. Делать было нечего: купила маргарина. Я покупала его в последний раз в 1899 году. Это когда я жила в Лейпциге и сама себе готовила на спиртовке. Однажды ко мне зашла, жившая же в Лейпциге, студентка Балабанова. Она была в ужасе, что я готовлю на маргарине. Говорила, что это вредно.

А вот и одна из причин уже «постоянных продовольственных затруднений»:

До последнего года (восемнадцать лет, что я тут живу) к нам ходила молочница и приносила молоко на дом. Но им [власти] запретили носить по домам молоко и велели продать коров. В царское время мне всегда приносили молоко на дом, разъезжали фургоны из молочных магазинов.

* В.П. Некрасов, напомним, был партийным!

В октябре-ноябре 1961-го Софья Николаевна переживала по поводу ставших известными преступлений большевиков и «докатилась» до сравнения советского режима с нацистским:

<...> Я все еще переживаю 22-й съезд. Только теперь читаю многие речи. Я ведь жвачная и, как корова, должна пережевывать одну и ту же пищу. Вот приоткрылся кусок занавеса над «родной и любимой» и раскрывается ужас. Во главе-то [государства] стоял бандит и убийца. Не будь он высшим государственным деятелем, давно бы был посажен в тюрьму. Ужас. Я все еще читаю Нюрнбергский процесс и в ужасе от моральной извращенности всех этих фашистов. Например: «Надо, мол, вывезти, как можно больше, продовольствия из России, тогда умрут от голода миллионы русских!» Чтoб люди мечтали о миллионах умирающих. И я это видела, когда жила в немецкой оккупации.*

Сравнение вполне справедливое, но неполное: А. Шикльгруббер-Гитлер уничтожал в Германии «лишь» евреев и цыган, а И.С. Джугашвили-Сталин (как и его «учитель» В.И. Ульянов-Ленин) – весь советский народ, не разбирая национальности и только избирательно подходя к классовой принадлежности и к возможным конкурентам (кулаки, троцкисты-зиновьевцы, бухаринцы и т.п., «учитель» уже до него уничтожил или выслал за границу священников, буржуазию, купцов, белых офицеров и т.п.).

Занимательно было бы проследить мотивы и хронологию эволюции взглядов С.Н. Мотовиловой, начитавшейся в юности Д.И. Писарева и других «революционеров», постоянно якшавшейся с большевиками, с энтузиазмом встретившей их приход к власти и на своей шкуре испытавшей все «прелести строительства нового мира». Но за эту многотрудную задачу мы, конечно же, не беремся по крайней мере, в этих очерках.

Приведем лишь не совсем профессиональное свидетельство Анания Рохлина:

В письме Бонч-Бруевичу Софья Мотовилова прямо обвиняет большевиков в повальном уничтожении крестьян, и рядовых тружеников города, и интеллигенции. События эти определили у Софьи Мотовиловой крах леворадикальных иллюзий о построении у нас государства социальной справедливости, веры бывшей сторонницы идей Томмазо Кампанеллы, Томаса Мора, Шарля Фурье и русских утопистов. О горькой цене своего прозрения она созналась в рассказе «Неотправленное письмо», с риском для жизни сохранявшемся свыше шестидесяти лет у родственников и посмертно опубликованном в нашей печати, в дни поминовения трагедии 1932-33 гг.

Этот рассказ был напечатан с подачи племянника нашей героини в эмигрантском журнале «Континент» в 1978 г. – под заголовком «Предсмертное письмо» (см. «Литературные труды С.Н. Мотовиловой» в Приложении).

В декабре 1961-го Софья Николаевна опять озвучила «вечный мотив», но в повторе содержится весьма несправедливая оценка В.П. Некрасовым помощи из Швейцарии в голодные 1920-е:

У меня как-то не было денег, и я сказала Зине: «Пошли эти два тома Шалапина Вере. Это стоит 6 руб., а я еще не получила пенсии». «Нет, нет, – говорит Зина, – у Вики денег нет, и Вере это неинтересно будет» (?!). Я рассказала это одной знакомой. «Какая чепуха, – говорит она, – Вика пожалеет Вам 6 руб.?!». Я посоветовала ей поговорить с ним. Он, оказывается, обозлился и сказал: «Не так уж много нам Ульянов и помогал». Книгу мне задержала в магазине моя знакомая (а у нас ведь, если «выбросили», надо сразу хватать), и я Вере послала, когда получила пенсию.

* Прошел в октябре 1961 г., о преступлениях сталинского режима было сказано в докладе Н.С. Хрущева еще на XX съезде в феврале 1956-го, но его не опубликовали, а лишь зачитали на партийных собраниях предприятий и организаций.

Оставляем читателю судить самостоятельно о «неблагодарности» В.П. Некрасова. На наш же непросвещенный взгляд здесь у племянника все-таки проявляется больше нежелания плясать под дудку «ненавистной тетки», чем неохоты оказывать помощь состарившимся и обедневшим лозаннским родственникам. Но фраза «*Не так уж много нам Ульянов и помогал*» все же не красит Виктора Платоновича.

Под новый 1962 год С.Н. Мотовилова получила поздравление от своего давнего знакомого, старого большевика Н.А. Алексеева:

Читая о XXII съезде, я все думала, бедный Алексеев, как он, вероятно, болезненно переживает все, что у нас в партии было! Столько людей погибло из-за какого-то сади-ста, бандита, стоявшего во главе партии! Теперь Алексеев видит, что я была права, когда писала ему о засоренности партии. Это я так думала. А он никакого стыда не чувствует. Ведь он же должен был тогда протестовать, погибнуть, но бороться против зла! Пишет мне: «Смотрите не назад, а вперед, сколько бы ни осталось жить. Настоящее лучше прошлого, а будущее оставит позади настоящее».

Это любимая фраза коммунистов: «Мы смотрим не назад, а вперед». А опыт-то прежних лет должен быть учтен? И где гарантия, что «будет (очевидно после моей смерти) хорошо?». Может быть, упадет шальная бомба и разрушит полмира?

Похоже, наша героиня оставалась на позиции возврата к «ленинским истокам», так и не поняв, что большевистский режим со своим классовым подходом был преступен с самого начала, а И.С. Джугашвили-Сталин был лишь верным (наиболее последовательным?) учеником В.И. Ульянова-Ленина.

Отдельная тема – мир ученых, профессоров и академиков в советскую эпоху:

Когда я работала в библиотеке Академии наук Украины, выбирали новых академиков, и наш отдел делал выставку их трудов. Были, конечно, люди достойные, например Патон, у него опубликовано много трудов, но были и такие, у которых не было ни одного научного труда, ни одной статьи! Предполагалось, очевидно, что когда они станут академиками, на них сойдет «благодать», и они сразу станут учеными!

Академик Крылов, математик (а не наш симбирский кораблестроитель), настоящий ученый, рассказывал мне, что Иван Павлов, физиолог, формулировал так: «Это не Академия наук, а Академия общественных заслуг». Что очевидно, ведь «благодать» сошла на них. Ведь у нас столько научных достижений. Возобновили Вы Ваше знакомство с Вашим кузеном Александровым? Меня просто интересует этот мир ученых. Что он из себя теперь представляет? В этот мир была пущена свежая мужицкая кровь и как-то его обновила. У нас нет ни князей, ни графов, ни придворных, самое высшее у нас – академики. Очень красиво: наука выше всего.

Советская наука действительно представляла собой весьма своеобразную среду. И эта тема заслуживает отдельного исследования. Из письма в Лозанну в сентябре 1960-го, незадолго до денежной реформы, зачеркнувшей на купюрах один ноль:

Их [(Некрасовых)] приживалка [Нина Аль] – «старший научный работник», зарабатывает больше тысячи в месяц, но живет почему-то на их счет. Недавно отправилась в туристскую поездку в Польшу, ну, а ее приятельница уже едет в Париж, источник денег – тот же, по-моему. <...> У нас есть еще категория лиц привилегированных. Недавно об этом была прекрасная статья Патона-сына. Это, конечно, очень хорошо, что у нас придает столько значения науке. Одно время «научными работниками» люди делались так, по желанию начальства. Теперь иначе: должен сдать [кандидатский] экзамен и написать диссертацию. После этого защита диссертации, и «научный работник» начинает получать 2 тысячи руб. в месяц, хотя бы он уже ни одной работы не писал! Иногда остается на той же работе, где раньше получал 900 руб., а теперь защитил диссертацию и 2 тысячи пожизненно.

Даже такая загадка есть: «Он сидит, она стоит, они идут». Означает: научный работник сидит, работа стоит, а деньги идут. Патон этим законом возмущается, что это за пожизненная рента, и часто, утверждает он, диссертацию принимают из уважения к руководителю, а не к диссертанту. Кроме того, диссертации часто пишутся [другими людьми] на заказ [(за деньги)].

А вот сюжет об «инженерах человеческих душ» – нелицеприятное воспоминание нашей героини, касающееся писателя Корнея Чуковского и его сына, тоже писателя:

В одном из номеров «Нового мира» за 1962 г., пятом, кажется, интересная статья Чуковского о языке. Сын его Николай был в Париже на выставке, его за границу посылают, а Вику – нет. В его романе, Н. Чуковского, «Балтийское небо» все положительные типы. Значит, угодил. А по-моему – подлиза. И старик тоже подлизывается.

В своей статье о языке он возмущается такими грубыми словами как «жид». А когда я его видела в 1934 г., он сам все время коробил меня, повторяя «жид», «жид», и явно завидовал «жиду», как он говорил, Маршаку. Меня главное возмущало, что говоря это мне, он считал, очевидно, что и я считаю такие слова нормальными!

После того как Софья Николаевна прочла воспоминания одного из основателей русского футуризма Давида Бурлюка, эмигрировавшего в 1920-м и побывавшего в СССР в конце 1950-х*, она делилась со своим московским корреспондентом:

Он очень интересно описывает Переделкино, где живут наши писатели. Простые смертные не имеют права иметь и дачу, и квартиру в городе, а писатели – сколько угодно. Особенно Бурлюка поражает, что у всех автомобили, у некоторых по два автомобиля и, главное, с шоферами. В Америке ведь сами автомобилями управляют.

* Бурлюк Давид Давидович (1882-1967). Отец, Давид Федорович, был агрономом управляющего Чернодолинским заповедным имением графа А.А. Мордвинова. С 1898 по 1914 г. Давид учился живописи в художественных школах Казани, Одессы, Мюнхена, Парижа и Москвы. В начале сентября 1911 г. он, поступив в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, познакомился с В. Маяковским, которого всегда будет считать своим учителем в поэзии, хотя тот, в свою очередь, скажет, что именно Бурлюк сделал его поэтом. В 1900-х гг. Бурлюк увлекался импрессионизмом. К 1910 г. под влиянием М. Ларионова пришел к неопримитивизму. Затем стал идеологом и идейным вдохновителем русского футуризма, одним из основателей группы «Гилея» и мюнхенского «Синего всадника», членом московского объединения «Бубновый валет».

<...> Первая персональная выставка работ Давида Бурлюка состоялась в 1917 г. в Самаре. Свой единственный поэтический сборник под эпатазирующим названием «Лысеющий хвост» Бурлюк издал в 1919 г. в Кургане. Бурлюк восторженно принял революцию, но не смог прижиться в послереволюционной России. В 1920 г. он эмигрировал в Японию, а в 1922-м переехал в Америку, где в начале 1930-х гг. получил гражданство.

В США Бурлюк стал известным художником. Его выставки проходили в лучших музеях и галереях. Он много путешествовал; выставки его картин проходили в Германии и Швейцарии, Испании и Австралии. В 1939 г. Бурлюк переехал в Чехословакию, затем – в Париж. В 1949-1950 гг. он жил и работал в Южной Европе, главным образом в Италии. Бурлюк основал в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде, журнал «Цвет и рифма». Зимы с 1946 по 1963 г. он проводил в Гаване, где устраивал выставки своих картин.

Накануне Великой Отечественной войны Бурлюк обратился в генеральное консульство СССР в Нью-Йорке с просьбой о возвращении на родину, но получил отказ. Советское правительство не пожелало принять в дар полотно Бурлюка «Непобедимая Россия» – одну из лучших его работ. Его творчество было практически неизвестно в СССР, хотя работы Бурлюка есть почти во всех провинциальных музеях России, а лучшие его произведения хранятся в «Третьяковке» и Русском музее. Увидеть родину Бурлюку и его супруге Марии Никифоровне довелось лишь в 1956 г. В 1965 г. Бурлюк обратился к советскому постпреду при ООН и Совете безопасности Н. Федоренко с просьбой о возвращении ему некоторых ранних работ, хранящихся в музеях СССР. В обмен художник предлагал любые свои работы более позднего периода. Однако ему снова было отказано. – Из Интернета

<...> Кстати он пишет, что Чуковский очень богат. Много издается его детских книг, у него прекрасная дача с какой-то башней, хозяйство ведет его невестка. И живут все эти писатели как бывшие помещики. У Чуковского самовар, и на Пасху были все пасхальные угощения. А помните его, Чуковского, письма мне: вечные жалобы на страшную нужду. Это было в 1930-х годах.

Стоит напомнить, что простому народу, который, например, получил садовые участки в 6 или 8 соток, советские власти запрещали строить капитальные дома (например, срубы) и разрешали возводить только летние домики. Ограничивалась даже высота домика, чтобы народ не мог возвести «хоромы» в два этажа.

В январе 1962-го наша героиня делилась своими впечатлениями о советских малограмотных работниках «шариковой ручки и пишущей машинки»:

У нас редактор «Иностранной литературы» не знает ни одного [иностранного] языка и сообщает в «Литературной газете», что Эйфелева башня была построена в 1900 году! И, кажется, в его же журнале какая-то статья начинается проклятиями Мопассана Эйфелевой башне, он бежит из Парижа, чтоб не видеть этого бессмысленного здания. А Мопассан умер в 1893 году. Писатель Корольков пишет в своей книге «Так было...», что Люцерн итальянский город. Что он, толстовский рассказ «Люцерн» не читал? Там ведь ясно сказано, что это город в Швейцарии.*

Что касается проклятий Эйфелевой башне, то Ги де Мопассан, Александр Дюма-сын, Шарль Гуно, Леконт де Лиль, архитектор парижской оперы Шарль Гарнье и многие другие в 1887 году действительно написали знаменитый протест против уродования Парижа после возведения этой конструкции на имя генерального директора строительства Всемирной выставки Альфана. Они возмущались сооружением в самом сердце столицы Франции «бесполезного и чудовищного сооружения».

С.Н. Мотовилова в марте 1962-го, после трех лет переписки, продолжала уговаривать Ивана Робертовича познакомиться в Москве со своими родственниками:

Отчего Вы так уперлись и не хотите пойти к Вашей кузине [Валерии Петровне] Александровой? Не желаете идти к «знатным» родственникам? Но сейчас Вам имеет смысл пойти: биография Классона. Может быть, она сможет сообщить Вам что-нибудь, чего Вы не знаете о Роберте Эдуардовиче? Ведь она жила со своей бабушкой Анной Карловной. Наконец, можете раньше позвонить ей по телефону и узнать, когда ей удобен Ваш приход. <...> Уговариваю Вас как маленького ребенка, а Вы (согласно Вашему выражению) «кочевряжитесь».

То же и с Гомой Мотовиловым. Сейчас в Москве проходит выставка проектов памятников Льву Толстому, всего 70 проектов. Не знаю, может быть, она уже закрылась. Вероятно, там есть и проект Гомочки. Спросите его по телефону, и если есть, зайдите на выставку. Гомочка очень охотно показывает, или показывал, свои произведения. Как-то я видела у него всадника. Лошадь – верх изящества, а на ней сидит наш грубый красноармеец. Я сказала про это несоответствие, как-то потом зашла: он переделал. Только, упаси боже, ему этого не расскажите.

С.Н. Мотовилова самокритично признавала два своих недостатка. Первый: старческую болтливость.

И второй: «Видите, у меня есть одна неприятная черта – бестактность. Вы правы, я не должна была Вам писать о невысоком мнении Лены [Игнатович] о Вас, как инженере. Но ведь это же верх комизма, ну что она может в этом понимать». Как говорится, прибавить тут нечего.

* На самом деле это произошло в 1889 г., к Всемирной выставке в Париже.

За четыре года до своей смерти (в 1966-м) наша героиня ненароком сделала такое философское обобщение по «хорошим советским людям»: «Теперь все засекретились, одни скрывают прошлое, другие – настоящее, третьи свое искреннее отношение к тому или иному явлению, вслух говоря то, что полагается говорить». Но как еще можно было выжить при большевиках? Ведь наиболее непримиримые их идеологические противники попадали в психушку или лагерь.

С сестрой Верой Софья Николаевна как-то поделилась своим неприятием преклонения советской интеллигенции перед «передовым американским писателем»:

<...> Ты знаешь, у нас все стадное. Например, всем [образованным людям] полагается восхищаться Хемингуэем. Вика его обожает, Александр Ефимович [Парнис] – тоже. Я переводила для Вики воспоминания брата Хемингуэя из какого-то французского журнала. Мне было противно. Сплошные пьянки, ах, как замечательно, целый квартал в городе чем-то напоил! Тут же брат высчитывает, во сколько это обошлось исходя из такой-то цены бутылки коньяка.

<...> Во времена Николая I живший у нас француз говорил, что русская [образованная] публика – это стадо баранов. Я с ним абсолютно согласна, хоть с тех пор прошло больше ста лет.

То все в восторге от Фейхтвангера – потрясающе! Затем такой же восторг от Ремарка. О Хемингуэе, которого и Вика и все остальные [интеллигенты] обожают, и говорить нельзя. По-моему он абсолютно зазнался. Статья о нем была в «Огоньке», где он утверждал, что выше всех (заметь, во всех областях): выше Тургенева, [далее следует] перечень всяких известных писателей, выше Баха, выше какого-то художника. Ходил по картинной галерее, вытаскивал из кармана шампанское и пил [из горлышка]! Любимый автор у всех у нас. Вика пишет его портреты и дарит. Рыбная ловля делается модной. Мне и Зине он абсолютно не нравится, но мы же выжившие из ума старухи, ничего не понимаем [в современных писателях].

В этом пассаже речь шла, во-первых, о мемуарах Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году»:

Средний класс мог бы образоваться из купечества, но оно так малочисленно, что не имеет никакого влияния. <...> В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ – не более чем стадо, ведомое дрессированными сторожевыми псами?

<...> Петр Великий, к которому неизменно приходится обращаться, чтобы понять нынешнюю Россию, – так вот, Петр Великий, наскучив некоторыми национальными предрассудками, в чем-то походившими на аристократизм и мешавшими ему в осуществлении его планов, пришел однажды к мысли, что паства его чересчур много думает и чересчур независима; в стремлении устранить сию помеху – наиболее досадную для ума активного и прозорливого в своей области, но слишком узкого, чтобы осознать преимущества свободы, какую бы пользу ни приносила она нациям и даже правителям их, – сей великий мастер по части произвола, со своим глубоким, но ограниченным пониманием вещей, не придумал ничего лучшего, как поделить стадо, то есть страну, на различные классы, не зависящие от имени отдельного человека, его происхождения и славы его рода; так, чтобы сын самого знатного в империи вельможи мог быть причислен к низшему классу, а сын кого-нибудь из принадлежащих ему крестьян – возведен в один из первых классов, буде на то случится воля императора.

При таком разделении народа всякий человек получает место по милости государя; вот как Россия превратилась в полк из шестидесяти миллионов человек, вот это и есть чин – величайшее из творений Петра Великого.

И, во-вторых, о воспоминаниях Лестера Хемингуэя «Мой брат, Эрнест Хемингуэй», изданных в 1962-м, через год после самоубийства писателя.

Еще в 1960 году наша героиня подвела некоторый бытовой итог «жизни под большевиками»:

Ты никогда не переживала этой острой нужды, которую переживали мы. Эти хождения по толкучке, «вшивому рынку», с продажей своих вещей, часами стояния в ломбарде в очередях. А мы с мамой все это без конца проделывали. Да, много мы пережили тяжелого. Только последние три года я вполне спокойна. Получаю пенсию, которой мне вполне хватает на жизнь. Одежды я, правда, себе не покупаю. Зина свою старую мне отдает, беда, что ее обувь мне мала. Но я всю зиму дома хожу в теплых туфлях, а на улице – в валенках, а летом – в башмаках на резине, ношу по десять лет.

За время Советской власти – сорок два года у меня только три раза были башмаки на кожаной подошве. Первый раз я продала свой самовар в Москве, в 29-м году и на эти деньги купила себе поношенные туфли на кожаной подошве.

Второй раз: маме, когда она была за границей, М-те Фридрих подарила рыжие ботинки, которые выкинула ее пансионерка-англичанка. Очень хорошие были ботинки, можно было ходить в них без калош. Я их носила семь лет. А в третий раз мне дал талон на туфли один жулик, который работал у нас в геолкоме. Это не я его называю жуликом, а он, вправду, оказался вором-рецидивистом.

<...> Каким-то образом он получал в магазине талоны на всякие пальто, костюмы, обувь. Ну и все эти талоны отдавал начальству, чтоб подлизаться. Ну, я, конечно, узнав, подняла шум. Вероятно, чтоб заткнуть мне глотку (он так думал), он дал мне талон на туфли. Это было, конечно, до того, как стало известно, что он жулик. (из письма сестре В.Н. Ульяновой)

В 1963-м наша героиня подвела, по-видимому, окончательные итоги своего жизненного пути:

Что я неудачница, это да! Ну что же, не всем жизнь удастся. Важно чувство собственного сознания: я всегда делала то, что считала правильным и хорошим, жалела людей. Я всю жизнь старалась помочь. Один знакомый говорил мне: «Вы любите униженных и оскорбленных». Нет, я их вовсе не люблю, но я хотела бы, чтоб их не били.

А другой сослуживец говорил: «Вы не обидитесь, С.Н., но когда человек теряет сознание своей выгоды, это называется идиотизмом». Пятнадцать лет я возилась с Сергеем Васильевичем [Андроповым], которого я никогда не любила, но он был одинок и вот уж абсолютно «терял сознание своей выгоды». И я была рада, что когда наконец он перестал быть нелегальным, поступил на государственную службу, и я не стала больше ему нужна, что он женился и был счастлив двадцать четыре года жизни со своей женой. Это он мне сам сказал в 1950-м году.

<...> Конечно, я не отдавала себя, как мама, всю целиком заботе о семье. Вероятно бы я дому принесла больше пользы, если бы мирно сидела на своей службе и не боролась все это время против всякого зла и безобразий. Кончалось ведь все это всегда тем, что меня отовсюду выкидывали без права работы в каком-либо советском учреждении. Но я борюсь всегда не за себя, а за право, против вредительства.

*<...> Не знаю, мне мое прошлое кажется светлым и честным, почему оно тебе кажется темным, как ты написала Вике, не понимаю. Ты написала мне тогда, что я «груба, мешанственна, завистлива, зла и воображаю, что всех благодетельствую» и что, читая мои письма, ты смеешься «*mais avec mépris*» [(«но с презрением»)].*

*Ну, что же смейся *avec mépris*. Казалось бы, ты моя родная сестра и лучше других знаешь меня. Для тебя я, конечно, ничего не делала, да ты и не нуждалась во мне.*

Но для Зины и ее детей Коли, Вики я делала все, что могла, всю жизнь и особенно эти послереволюционные годы и эти ужасно тяжелые для меня четыре года после маминей смерти. Я отошла от Зины и Вики в 1947-м году, когда они уже были богаты и во мне не нуждались. А я же была всем у них, и кухаркой и уборщицей, да всем вообще. И ведь они были не одни, а окружены своими прихвостнями. Одна знакомая мне говорила: «Вы жертвенная натура», а другая: «У вас нет никакой личной жизни, вы вся отдаетесь своей семье». Ты думаешь, Зина это замечала? Ни капельки. Она мне как-то сказала: «Ты хочешь всех убить, задавить, задушить» (из письма сестре В.Н. Ульяновой).

Ну что ж, Софья Николаевна Мотовилова хотя и не дожила до коммунизма (как и все советские люди), но провела вполне достойную жизнь, несмотря на гражданскую войну и голод, гнет большевиков, злодеяния немцев и так далее. Многих людей эти невзгоды заставили не только «прогнуться», но некоторых – и сломаться.

А наша героиня, полуглухая, полуслепая, с развившимся в старости склерозом, до самого своего конца продолжала живо интересоваться событиями «оттепели».

Из письма И.Р. Класону в мае 1962-го:

Мне рассказывали, что у Вас в Москве в Политехническом [музее] было выступление Эренбурга, и что молодежь его горячо благодарила, что он раскрыл для нее писателей, о которых она понятия не имела, и требовала (молодежь), чтоб их издали опять. Вы знаете, что долгое время в библиотеках запрещено было выдавать журналы и газеты, начиная со второй половины 1917 года и до конца [войны], то есть за тридцать лет! Теперь, говорят, уже выдают.

В 1963-м Софья Николаевна еще пыталась отспорить свою трудовую пенсию, но из этого ничего не вышло:

<...> Я уже три года знаю, что библиотекари получили прибавку к пенсии в 40%. И все не могла пойти в отдел Социального Обеспечения, выяснить это, наконец, пошла. Спрашиваю: «Была прибавка на пенсию библиотекаря года три тому назад?» «Была». «Почему я ее не получаю?» Инспекторша сходила за моим делом и отвечает: «Вы получаете не трудовую пенсию, а по старости». Я ей говорю: «Я же работала с 1916-го года по 1950-й, тридцать четыре года. Какая же не трудовая, и трудовая книжка у меня есть и в профсоюз я ежемесячно платила (последнее время – по 8 руб. каждый месяц)?»

А инспекторша: «Э, да когда это было! Вы и так слишком много получаете». Мне советуют пойти в юридическую консультацию. Но я с отвращением вспоминаю все разы, когда я там была. Толку никакого, только деньги зря платишь.

Кстати, в марте 1962-го с С.Н. Мотовиловой приключился такой случай:

Вчера было свинство. Вошла Зина и с ней какая-то молодая особа. Я думаю, это Зина кого-то из знакомых взяла, чтоб себя проводить. Особа говорит мне: «Вы меня не узнаете?». Говорю: «Нет». «Да вспомните!». «Нет, я вас не знаю». «Я же вам выписываю деньги. Я из собеса». Я говорю: «Но я там никогда не бываю, и вас не видела». Но тут я обрадовалась, наконец, узнаю: «Скажите, ведь мы, библиотекари, должны получить прибавку?». «Я как раз за этим к вам и пришла. Все уже давно получают». «Чего же вы мне не выписываете?». «Я пришла проверить Ваши документы, покажите пенсионную книжку».

Я решаю, что это какая-то взяточница из собеса (там их много, как-то и бухгалтер, и секретарь в моем собесе были сосланы, один на 20 лет, другой на 25 лет. Причем богатые люди, у одного даже дом был в Киеве). Очевидно, хочет от меня взятки, и тогда пойдет все гладко. Посмотрела пенсионную книжку, паспорт, трудовую книжку и говорит: «Должен быть еще один документ, который вам дали со службы».

Я ее спрашиваю: «А какой будет прибавка?». «Вы сколько получаете?». «46 руб.». «Ну, будете получать 70 руб.». Я окрыляюсь, хватит и на кота, и на все [другие] траты. Она говорит: «Но я не умею печатать на машинке, мне надо будет платить». Я еще больше окрыляюсь: значит, намек. Я же никогда взяток не давала. Обрадованно говорю: «Вам нужны деньги? Сколько вам надо?». Вытаскиваю конверт со своими деньгами. Она говорит: «10 руб.». Я даю 10 руб., провожаю ее до двери. Она говорит, чтоб я поискала бумажку, и она зайдет в субботу.

Возвращаюсь к Зине, и тут я только соображаю. Может быть, это просто мошенница, а не взяточница из собеса! Говорю Зине: «Чего ты ко мне воровку привела». Оказывается, она предлагала Зине поднести сумку. У Зины чудесная кожаная сумка из Флоренции. <...> Ну, конечно, в субботу моя мошенница не пришла. Оказалась – не взяточница.

Скорее всего, эта особа просто хорошо знала собесовские беспорядки (м.б. какое-то время там работала) и решила на их почве малость обогатиться.

А в письме к сестре В.Н. Ульяновой в мае 1964-го С.Н. Мотовилова сообщала такие подробности о давнем случае: «Думала починить золотой мост [для зубов]. А потом ко мне пришла с Зиной воровка. Я думала, это Зинина знакомая, впустила ее, а она у меня забрала все деньги и мой золотой мост. Я не помню, писала тебе об этом? Это было года два тому назад».

В марте 1964-го в Лозанну последовал такой отчет о «светской жизни» Софьи Николаевны и переживаниях на «вечную тему»:

<...> Александр Ефимович [Парнис] сообщил, что Твардовский в Киеве (Вика сказал, что Твардовский должен был приехать в Киев, но [пока] не приезжал). Очевидно, Вика вместе с ним пьянствует, ну, и с другими писателями. Вероятно он приехал по поводу празднования 150-летия [со дня рождения] Шевченки.

<...> Ну, итак Зина пришла сегодня с Викой. Мой высокопоставленный племянник соблаговолил войти ко мне в комнату. Принес выстиранное Ганей белье, присланную ею провизию, вероятно с полпуда было всего. Сблаговолил даже принести мне очень интересное для меня письмо одной из знакомой скульпторши, хорошо знавшей Георгия Ивановича Мотовилова. Она о нем очень высокого мнения, не только как о скульпторе, но и о человеке.

<...> Затем Вика даже сообщил мне, что у меня есть враг (я думаю, не один, а много), академик Гудзий*. Он негодует на то, как я изобразила Черткова. Так же негодовал Бонч-Бруевич, Гольденвейзер и всякие Толстовцы. До сих пор я получала только хвалебные отзывы. Бедная Зина просидела у меня два часа с лишним. Форточка была открыта**. Затем за ней пришел Вика. Дала ему l'Oeil (наверное забудет тебя поблагодарить). Дала опустить письмо сыну Классона. Его морское училище очень недалеко от них. Пусть ходит в отпуск к ним, у них бывает много народа, [есть] много интересных книг, могут угостить обедом. А что ему, двадцатилетнему юноше, делать у восьмидесятирехлетней старухи в душной, вонючей комнате?

<...> Ты знаешь, Вика [раньше] был таким хорошим, тихим, скромным мальчиком, а ты бы послушала, каким покровительственно-снисходительным тоном он теперь разговаривает со мной! Ну, что же, стал всемирной известностью. Но от этого он не поумнел, не стал более образованным. Конечно, его друзья – Исаак, Ева [Пятигорские] и другие считают его «верхом образованности», но это потому, что сами мало знают. Я, откровенно говоря, считаю себя и умнее и образованнее <...> Вики.

* Гудзий Николай Каллиникович (1887-1965), литературовед, академик АН Украины (1945), профессор МГУ (с 1922 года).

** Зинаида Николаевна задыхалась в душных помещениях.

Вика талантлив и как художник и как писатель, но это не дает ему права таким тоном разговаривать с людьми.

<...> В это воскресенье я была на кладбище на маминой могиле. <...> Вчера у меня был Исаак [Пятигорский]. Я сказала Вике, чтоб он мне прислал его. Дело в том, что я уже не могу следить за маминой могилкой, ни цветов покупать, ни сажать их, ни следить за женщиной, которая должна их поливать. Мы платили за уход за могилкой и 100 р. в мес. и 40 и 20 – и все одно! Цветы крадут, деревья обламывают и срубают, мраморный крест несколько раз ломали, но мы его кое-как склеили. И главное, видя, что мы с Зиной беспомощные старухи, эта женщина с нами совсем не считается.

Вот я и решила попросить Еву следить за маминой могилкой, как она уже несколько лет следит за могилкой Женьки Сац (на Викин счет, конечно). За мамину-то могилку, конечно, я буду платить. Мы обычно с Зиной платили пополам. Исаак сказал, что Ева будет всем распоряжаться и следить за женщиной, которая убирает.

В начале 1964 года в №12 «Нового мира» за 1963-й наконец-то вышло скомканное и исковерканное «Минувшее». И Софья Николаевна стала писателем (и это в возрасте восьмидесяти двух лет)!

За описанием многострадальных «этапов большого писательско-издательско-гонимого пути» и подробностями общественного резонанса мы отсылаем читателя к преамбуле данных нами возможно более полно «Литературных трудов С.Н. Мотовиловой» в Приложении.

А.Е. Парнис так описывал финальный издательский этап:

<...> Вернусь к судьбе воспоминаний Мотовиловой. Попытки их напечатать, которые продолжались более тридцати лет (с 1931 г.) и в которых принимали участие Чуковский, Пастернак и другие, закончились неожиданным образом – помог случай. В январе 1963 г. я присутствовал в Москве на торжественном юбилейном вечере В.Б. Шкловского, где познакомился с юбиляром. Шкловский в это время заканчивал работу над книгой о Л. Толстом. Я ему сообщил, что знаком с Мотовиловой, автором неизданных воспоминаний о Толстом и Черткове.

Он заинтересовался, и через некоторое время я послал ему эти воспоминания. Шкловский ответил мне 9 августа 1963 г.: «Я получил Ваше письмо и рукопись о Черткове. Оно запоздало к моей книге, которая была уже сдана [в издательство]. Но рукопись необыкновенно интересна. Эта Мотовилова – талантливый человек. То, что она написала о Черткове, лучшее, что я про него читал. Считаю себя Вашим должником, а рукопись я поставил, как книгу, на своей полке с толстовскими материалами».

Шкловский не только поставил на полку рукопись Мотовиловой, но и переслал ее в «Новый мир» со своей рекомендацией. Все завершилось очень быстро, и в №12 воспоминания были напечатаны под названием «Минувшее». <...> Таким образом закончилась история издания воспоминаний С.Н. Мотовиловой, длившаяся тридцать два года и спровоцировавшая переписку Пастернака с автором «Минувшего».

В заключение позволю себе привести лестную для меня дарственную надпись, сделанную С.Н. на отдельном оттиске сразу же после опубликования мемуаров: “«Первопричине» напечатания моих мемуаров – [om] находки каменного века С.Н. Мотовиловой. С. Мотовилова, 20.1.64”. С.Н. также передала в полное мое распоряжение автографы писем к ней Пастернака («Вы – чудо доброты». К истории одной переписки. / In memoriam. СПб., 2000 г.).

Отметим здесь еще, что «молодого автора» поздравили с «блестящим дебютом» лауреаты Ленинской (К.И. Чуковский) и Сталинской премии (В.П. Некрасов). Лауреата Нобелевской премии Б.Л. Пастернака уже не было в живых (а то и он бы, возможно, поздравил).



*Лилианна Лунгина и Анна Берзер
(фото из книги «Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной,
рассказанная ею в фильме Олега Дормана»)*

Сообщив об этом сестре Вере Николаевне в Лозанну, наша героиня грустно добавила: *“Не думаешь ли ты, если бы у Вики было бы хоть 10% интереса Александра Ефимовича [Парниса] ко мне, «дебют» бы мой мог бы быть несколько раньше моих восьмидесяти лет?”*.

От себя добавим пару строк. Вот вам и хваленый «Новый мир» с не менее хваленым А.Т. Твардовским и еще более хваленой редакторшей «Асей Берзер» (как Анну Самойловну любовно называли многие писатели, включая и В.П. Некрасова).

Но таковы уж были хамские стандарты советской партийной редакции (в чьем русле, естественно, следовал и «Новый мир»), которые «стригли ножницами и переклеивали» любых авторов под какие-то «свои большевистские стандарты». И в этих стандартах «священными коровами» продолжали оставаться В.И. Ульянов-Ленин и Н.К. Крупская, большевистский режим 1920-х, а «не поминаемыми сочувственно» – всякие эсеровские, меньшевистские, белогвардейские персонажи. «Новый мир» тут не мог быть исключением (исключениями были лишь «самиздат» и «тамиздат»).

Кстати, вскоре после публикации «Минувшего» в «Новом мире» вышла книга Владимира Архангельского «Ногин» – в серии «Жизнь замечательных людей». Она была написана в «лучших традициях» соцреализма – с взятыми с потолка диалогами и рассуждениями действующих лиц – революционеров. В то же время автор как будто бы использовал целый ряд серьезных источников, в том числе и «Минувшее» нашей героини, но все они были вторичными, а первичных – архивных источников не оказалось ни одного!

Вот как Софья Николаевна реагировала на «Ногина»:

<...> Стиль по-моему пошловатый. Не выношу этой «беллетризации», как это называется, т.е. вранья. <...> Я «прорабатываю» биографию Ногина. Ну для чего врать про меня всякую чепуху, что я спорила с Виктором Павловичем о Черткове: никогда с ним не спорила. Что училась медицине (?) на курсах Герье? Да никогда медицинского факультета там не было.

И, действительно, у Владимира Архангельского обнаруживается следующая хрень, вперемешку с реальными фактами:

<...> Все эти лица и составляли ближайшее окружение Андропова и Ногина в Лондоне. <...> Да вошла в жизнь друзей молодая девица Софья Николаевна Мотовилова из Симбирска. Она приехала пополнять образование, никак еще не определила своего идейного «кредо» (!?), но явно симпатизировала Андропову. Виктор считал, что лучшей невесты для Сергея и не сыскать.

<...> Софья Мотовилова часто спорила с Виктором [Ногиным] о Черткове. Она разочаровалась в толстовстве [!? – МК], и барин из Крайстчарча претил ей до крайности, был он холеный, с холодными глазами и чем-то напоминал ей Ивана Грозного. Особенно возмущало ее то, что он поставил Сергея [Андропова] в униженные условия. Денег за работу не платил да еще был недоволен, если Сергей не садился с ним за шахматную доску или не желал играть на рояле сочинения, написанные женой хозяина.

– Отвратительно, Виктор Павлович! Ведь Сережа [!? – МК] все делает даром. Он иногда даже посуду моет на кухне! И все лишь за одну еду. И терпит чванство и фанатерию этого ужасного человека.

Виктор никак не мог согласиться с такой оценкой Черткова. <...>

Софья Николаевна Мотовилова перед отъездом в Испанию (!?) подарила Виктору большой портрет Карла Маркса (!?). С этим портретом – единственной ценной вещью, которая поступила ему в Англии, – Виктор и приехал в среду 8 мая 1901 года в Крайстчарч – через Ливерпуль и Бристоль, минуя Лондон.

<...> В делах полиции сохранилось подробное описание, как филеры охотились за Ногиным [в Петербурге]. <...> Вечером [30 сентября 1901 года] Ногин встречался с Софьей Николаевной Мотовиловой – слушательницей женского медицинского института (!?) – у нее на квартире (ул. Ивановская, №24, кв. 5). <...> В полночь [со 2-го на 3 октября] захлопнулась за ним тяжелая кованая дверь Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

Дотошный читатель может самостоятельно сравнить многочисленное вранье с первоисточником (главками «В Англии» и «Петербург» в «Литературных трудах С.Н. Мотовиловой» и главкой «Старые друзья» в «Минувшем»).

Вот, например, что Софья Николаевна могла бы противопоставить вложенному В.В. Архангельским в ее уста обращению «Сережа» по отношению к С.В. Андропову:

Ногин очень изменился за время сидения в [Петропавловской] крепости, оброс большой бородой, был какой-то одутловатый. Прощаясь, Андропов попросил:

– Вы позволите говорить вам «ты»?

Я ненавижу всякую фамильярность, сама никому, кроме своих близких родных, «ты» не говорю. Но разве я могла ему отказать, когда он ссылаясь в Сибирь? Я позволила. С тех пор он стал мне говорить «ты» и «Соня». Я же по-прежнему его называла «Сергей Васильевич» и на «вы».

Особенно одиозно выглядит «одарение» В.П. Ногина большим портретом Карла Маркса (!?), перед отъездом Софьи Николаевны в Испанию (?). Ни в воспоминаниях, да и ни в одном письме она не упоминала об одной, пусть и замечательной стране. По-видимому В. Архангельский перепутал ее с Италией (где в Риме имеется площадь Испании)!! Действительно:

На пасхальные каникулы я уезжала из Лондона, мы ездили на несколько недель с матерью в Италию. Турин, Генуя, Флоренция, Рим, Венеция, Милан – впечатлений была масса. Но, вернувшись в Лондон, я почему-то бросила уроки рисования и живописи. Я уже знала достаточно английский язык и стала слушать лекции в University College.

<...> Книга Муратова «Образы Италии» вновь перенесла меня в мои итальянские переживания. <...> Читая у Муратова описание Пизы и лестницы в цветах на piazza di Spagna [(в Риме)], я вспоминаю наше первое с тобой путешествие по Италии [(в 1901 году)], пансион на via Gregoriana, фонтан во дворе. Оно было, все-таки, самое лучшее, хоть мне много потом пришлось бывать в Италии.

Но, верно, прав Аннунцио : «лишь в первый раз, когда вы видите вещь, она Вам дает свою душу». Хоть это было четырнадцать лет тому назад, но во мне так ясно впечатление от Пизы. А ты помнишь? Тихо, пустынно, вроде русского губернского города? И впечатление о Турине у меня тоже очень яркое: небо синее, воздух холодный, прозрачный, улицы широкие. Я вспоминала его, когда читала о том, как Ницше там жил.*

<...> Я тогда уехала на год в Швейцарию и Италию [(в 1908 году)]. Я всегда была независима.

<...> Затем мне пришлось читать в Женевской университетской библиотеке и в Италии, во Флоренции. Читала я книги по искусству в библиотеках палаццо Уффици и палаццо Питти. В Уффици меня сместило, что был отдельный стол для женщин. За ним было тесно, и женщины были очень шумливые. В библиотеке палаццо Питти мне читалось очень хорошо. Я порекомендовала туда пойти одной моей знакомой. Она пришла ко мне с упреком: зачем я не предупредила ее, что там нельзя читать в общем зале – ее попросили выйти и пройти в дамскую комнату. Я удивилась и продолжала читать в общем зале, но видела иногда – мимо меня проскальзывали женские тени в какую-то узенькую боковую дверь. Только в Италии я видела это странное деление читателей по полу, но это было давно, лет сорок тому назад.

Приведем теперь яркий пример нудных контактов с другой государственной организацией, не менее «культурной» чем «Новый мир», – с отделом рукописей Российской государственной библиотеки (тогдашней «Ленинкой»).

В очерке «Классонята» мы уже рассказывали, как И.Р. Классон хлопотал о возвращении архива В.Н. и Н.А. Ульяновых в Москву и как с ним беспардонно обходились сотрудники отдела рукописей РГБ. Но это были 1977-78 годы.

А вот, что происходило в 1964-65 годах:

<...> Получила сегодня письмо Ивана Робертовича [Классона]. Он говорил по телефону с Зав Отделом рукописного отдела Ленинской библиотеки. Я предложила им отдать письмо Веры Фигнер, т.е. продать. Заведует теперь там сын академика Шлихтера.

* Габриэле д'Аннунцио (1863-1938), итальянский поэт.

Он предложил купить у меня весь мой архив. Киевский архив просил, чтоб я ему даром все подарила. Пусть дадут какой угодно грош, но где-то сохранятся мои бумаги – в таком виде, как я их писала. Ведь это просто мусор, который засоряет мою комнату. Ведь мои мемуары в «Новом мире» были напечатаны главным образом на основании того, что сохранились в Литературном Архиве, куда они были переданы Бончем из его Литературного Музея.

Написала сейчас [киевскому знакомому] Исааку [Пятигорскому], чтоб проконсультироваться с ним, как быть. У них (в Ленинской библиотеке) есть вероятно моя переписка с Рубакиным, Хавкиной, Бончем. Все-таки это все характеризует нашу эпоху без прикрас. <...> Мне кажется, в частных письмах больше правды, чем в документах. Нужно и то, и то.

<...> Сейчас рукописный отдел Ленинской библиотеки предлагает мне продать им весь мой архив. Я очень этим заинтересована, не деньгами, денег будет грош, но чтоб где-то были мои рукописи, так – как я их писала, а не так – как их переделали в редакции [«Нового Мира»]. Вересаев говорил (не мне, а одной знакомой писательнице, она могла и соврать), что русские писатели пишут теперь в два этажа: один для напечатания теперь, а другой для будущего. Ну, а я хочу послать в один этаж – для будущего. Ленинский архив (рукописный отдел), по-моему, самый для меня подходящий: там и архив Хавкиной, и Рубакина, и Бонч-Бруевича, у которого было много моих писем, если они их не повикидывали.

<...> Жду, когда пришлют деньги за мои рукописи, переданные в Ленинскую библиотеку. Александр Ефимович [Парнис] их послал 3 сентября, а сегодня уже 23 октября, а все еще не было комиссии по их оценке. Ну что же, Бонч-Бруевич мне заплатил за Брюсова аванс через семь лет. Я, конечно, [очередные] семь лет не доживу.

<...> [Моя «тимуровка»] Вера Всеволодовна, вероятно, волнуется, что я уже два месяца ей ничего не плачу. Но она же знает, что я ей заплачу, как только получу плату за свои рукописи, посланные в Ленинскую библиотеку. Послала их 2 сентября, прошло уже два месяца. Сперва [заведующий отделом рукописей] Шлихтер, с которым ведется это дело, заболел, потом был в отпуску и опять заболел! Это мне писал Иван Робертович Классон, который говорил с библиотекой по телефону.

<...> Теперь я послала [в отдел рукописей библиотеки Ленина] гораздо больше материала чем тогда [(когда мне заплатил Бонч-Бруевич)], думала – 800-1000 р. получу. <...> А время шло и шло! Прошел сентябрь, октябрь, ноябрь, кончился декабрь, и наконец Рукописный отдел мне ответил – рукописей моих они брать не хотят! Просят прислать им письмо Веры Николаевны Фигнер, которое я им не посылала и посылать не хочу, мой очерк о ней и еще один мой рассказ. За все предлагают 30 р., меньше, чем я должна [«тимуровке»] Вере Всеволодовне за один сентябрь!

<...> Это тогда меня подвела Ленинская библиотека, сами [ее сотрудники] предложили мне продать им свои рукописи, относящиеся к «Минувшему», мои рассказы, письмо Веры Фигнер и еще что-то. Причем потребовали, чтоб я давала лишь только то, чего нет в других архивах. Как я могу знать, где что мое? У них каталог других архивов, у меня же их нет! Требовали, чтоб я давала и рукопись, и машинопись. Ведь я же могла прямо печатать, без рукописи?

Предложил это сын академика Шлихтера, но с ним начались всякие несчастья, сотрясение мозга, какой-то пьяный студент его по голове ударил. Затем его с этой службы уволили. Длилась эта история четыре месяца, все не могла собраться комиссия для определения стоимости! Я задолжала Вере Всеволодовне.

Несчастный [*«тимуровец»*] Александр Ефимович сидел на полу, разложив все мои рукописи, машинописи и еще что-то. Его «девчонка» ему помогала, а я должна была каждую рукопись подписать.

Наконец Александр Ефимович переписал все, упаковал, отнес на почту. Стали ждать. Вера Всеволодовна злилась, что я не плачу ей. Наконец, через четыре месяца они сообщили мне, что мои рукописи им не нужны, они хотят только письмо Веры Фигнер и мой рассказ об этом, и еще один рассказ. За все – 30 руб.! Я, конечно, потребовала, чтоб они все мне вернули. Ну и не наглость ли это?

Неизвестно зачем один мой знакомый писатель пошел туда и начал спрашивать, почему они не купили мои рукописи. Объяснили ему: «Не сошлись в цене». А его знакомая из отдела рукописей сообщила, что они и так для меня сделали повышенную расценку!! Нравы! (из писем сестре В.Н. Ульяновой)

Комментировать тут особенно нечего. Можно лишь предположить, что библиотека могла приобретать архивы и рукописи только по госрасценкам. Но наверняка в них имелся некий диапазон: типа, не очень ценные материалы, весьма ценные и очень ценные рукописи. И у своих знакомых сотрудники приобретали их, скорее всего, по завышенным расценкам, а у чужих – по заниженным. Но этому, естественно, необходимо искать документальные подтверждения (если они еще сохранились).

В итоге после смерти С.Н. Мотовиловой «шесть грузовиков» архивных материалов, по выражению домработницы Некрасовых Гани, были перевезены к ее племяннику, а затем, после отбора наиболее ценного по его убогим понятиям, остальное было безжалостно выброшено на помойку! Это поразительное по цинизму признание сделал через полвека Виктор Кондырев, пасынок В.П. Некрасова, в своей книге «Все на свете, кроме шила и гвоздя» (см. очерк «Виктор Некрасов в разных измерениях»!!)

Летом 1965-го, за полгода до смерти, С.Н. Мотовилова перебирала свой зимний гардероб и в письме в Лозанну накрутила такую цепочку воспоминаний «о долго служащих шубах» (что было жизненно важно при большевиках):

<...> Я один день погуляла два с половиной часа, чувствовала себя очень хорошо, даже перебрала все свои вещи. Шубы оказались в полном порядке, перебрала и переложила их, там, оказалось, лежала целая коробка нафталина. Представь себе, уже две или три зимы не выхожу, а у меня три шубы. Одна еще мамина, переделанная из той, которую мама купила себе в Петербурге на Михайловской [*улице*] в 1902 году. Потом она была переделана и отделана котиковым мехом от шубы, привезенной из Швейцарии в 1923 году (сорок два года тому назад).

Это была поношенная, но хорошая котиковая шубка. Ты не помнишь, кто ее маме подарил в Лозанне [*на бедность*]? Ее надо было бы сразу же починить, но денег тогда не было. Зина ее сносила до корды*, а из остатков сделали воротник и обшлага на маминой шубе, купленной в 1902 году (шестьдесят три года тому назад).

Какая-то малознакомая докторша встретила меня [*в ней*] и [*потом*] рассказывала знакомой: «Встретила Мотовилкову в каком-то салопе». Это еще было до войны. Теперь, когда я ее надеваю, мне на улице говорят: «Бабушка, в церкву собрались?» В этой шубе[*, однако,*] мне на помин души не подают.

Другую шубу заказали для Зины из какого-то сукна, купленного в «лимитке», когда у Вики появились деньги. Шили ее в мастерской для писателей, отделали хорошим каракулем. <...> А подкладку подшили из Викиной шубы, вынули мех.

* Качественная меховая шуба должна быть прошита – укреплена кордой, полупрозрачным шелковым полотном от талии до плеч. Корда не только утепляет изделие из меха, но и сохраняет красивую форму меховой шубы. Из Интернета

Одно время Вика накопил себе столько шуб, что его товарищ меня спрашивал: «Человека, который собирает марки, называют филателистом, а как называется человек, который собирает шубы? Как ваш племянник?». Шубы эти все он раздарил своим друзьям. <...> Третью мою шубу (Зинину, конечно) мы купили в комиссионном магазине. Зина не хотела ничего выбирать и купила первую попавшуюся в комиссионке. В обычном магазине она стоила 800 р., ну, а тут – 2 тысячи. Спорить с Зиной нельзя. Она мгновенно ее купила. Но Зинины знакомые нашли, что матери такого известного писателя как Вика неудобно в такой шубе ходить, и все они ходили с ней вместе, купили ей шубу в 5 тыс. (бывших [рублей]), и она держится до сих пор.

А восьмисотрублевую, уже всю протертую, отдали мне. Я ей подшила другую, более легкую подкладку и носила много лет, абсолютно протертую. Тут уже мне не говорили: «Бабушка, в церкву собрались?». А просто, вероятно, жалели, что я в такой рваной шубе хожу, и давали то 15, то 20 коп. «на помин души». Я говорила, что я не верующая и «на помин души» не беру. Они пугались: «Почему не верующая?». Ну как объяснить? «Никогда в бога не веровала, а почему – не знаю». Однажды, когда я шла по улице, подошел ко мне какой-то «советский гражданин», еврей: «А шуба ведь эта была когда-то хорошей». Я в ответ: «И стоила две тысячи». Он поглядел на меня как на сумасшедшую.

В декабре 1965-го наша героиня призналась сестре Вере Николаевне «про это»:

<...> Помнишь, Александру Яковлевну Анатомову, дочку Цыльнинского дьякона, такую религиозную? Она про себя всегда говорила: «Соблюла и соблюду». Я никак не могла понять, что она «соблюдала»? А потом оказалось – «целомудрие». Ну и я могу сказать: «Соблюла и соблюду», попросту говоря, это означает, что я старая дева.

Ты всегда называешь [нашу покойную швейцарскую знакомую] Лину «старой девой». Я не вижу, что тут унижительного? Одним людям удалось встретить человека, которого могли полюбить, другим не удалось. Вот и все.

В марте 1966-го З.Н. Некрасова написала своеобразную эпитафию своей сестре (пережив ее, как мы потом увидим, всего на 4 года):

Я до сих пор не могу прийти в себя от известия о Сониной смерти. Мне просто кажется это неправдоподобным! Она никогда не жаловалась на здоровье, всегда была бодрa, много читала и раньше много выходила, но после падения стала выходить с палкой (бывшей маминoй) и с кем-нибудь из знакомых сначала, а потом со своей ученицей французского языка или с каким-нибудь знакомым: с Викой, его товарищем.

Наконец, ей прислали особу из «общества добрых услуг». Меня она отвергала, говоря, что у меня руки слишком тонки, и она боится их «сломать».

Но в то же время она печатала свои воспоминания и в «Новом Мире» и других журналах, да и вы сами их, верно, читали? Когда я зашла к ней проститься перед нашим отъездом, я у нее застала эмигрантку из Америки, которая тоже что-то брала у нее, чтобы там переводить. Получала оттуда массу писем.

Вообще была полна энергии и бодрости. Когда за мной зашел Вика, она и ему дала прочесть какую-то интересную книгу из библиотеки, и мы удивились, скольким людям она интересна, а главное, ее воспоминания. Так что уехали мы совсем спокойно, не подозревая, что у нее вскоре обнаружат рак желудка с метастазом в печени.

Когда нам друзья наши – [Ева и Исаак] Пятигорские сообщили этот диагноз, мы собрались сейчас же выехать, но вечером того же дня получили телеграмму, что она сразу умерла в тот же вечер и на другой день она была похоронена, нашими друзьями, на Байковом кладбище около мамы! Так и не пришла в сознание, к счастью!

После нее осталось много книг и писем, которые наша Ганя перевезла к нам на квартиру на шести грузовиках! Вот и все! Умерла она как и жила, оставив по себе яркий след. (из письма в Лозанну)

Мы здесь не будем обсуждать причины такого позднего диагностирования тяжелой болезни, так же как оценивать квалификацию умудренного опытом врача З.Н. Некрасовой, поставившей за год до смерти сестры неправильный диагноз – «водянка»; поведение В.П. Некрасова, приведшего к тетке совсем не ту врачу (на двадцать лет моложе), которую она просила и т.д. Эту тему – «бесплатная, но убогая советская медицина» мы уже затрагивали не раз. Зато смерть С.Н. Мотовиловой окончательно примирила сестер, которые постоянно «разрывали отношения».



Фото из книги Виктора Кондырева «Все на свете, кроме шила и гвоздя»



С сайта памяти Виктора Некрасова